

Светлана Алексиевич

Чернобыльская молитва

(хроника будущего)

Мы воздух, мы не земля...

М. Мамардашвили

Историческая справка

«Беларусь... Для мира мы terra incognita – неизвестная, неизведанная земля. «Белая Россия» – так примерно звучит название нашей страны на английском языке. О Чернобыле все знают, но только в связи с Украиной и Россией. Мы еще должны рассказать о себе...»

«Народная газета», 27 апреля 1996 г.

«26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 58 секунд – серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной вблизи белорусской границы. Чернобыльская катастрофа стала самой крупной технологической катастрофой XX века.

Для маленькой Беларуси (население 10 млн. человек) она явилась национальным бедствием, хотя у самих белорусов нет ни одной атомной станции. Это по-прежнему аграрная страна, с преимущественно сельским населением. В годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты уничтожили на белорусской земле 619 деревень вместе с их жителями. После Чернобыля страна потеряла 485 деревень и поселков: 70 из них уже навечно захоронены в земле. В войну погиб каждый четвертый белорус, сегодня каждый пятый живет на зараженной территории. Это 2,1 млн. человек, из них – 700 тыс. детей. Среди факторов демографического угасания радиация занимает главное место. В Гомельской и Могилевской областях (наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы) смертность превысила рождаемость на 20%.

В результате катастрофы в атмосферу выброшено 50×10^6 Ки радионуклидов, из них 70% выпало на Беларусь: 23% ее территории заражено радионуклидами – более 1 Ки/км² по цезию-137. Для сравнения: на Украине заражено 4,8% территории, в России – 0,5%. Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 и больше Ки/км² составляет свыше 1,8 млн. гектаров, стронцием-90 с плотностью 0,3 и больше Ки/км² – около 0,5 млн. гектаров. Из сельхозоборота – выведено 264 тыс. гектаров земли. Беларусь – страна лесов. Но 26% лесов и больше половины лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож относятся к зоне радиоактивного загрязнения...

Как следствие постоянного воздействия малых доз радиации с каждым годом в стране увеличивается количество раковых заболеваний, детей с умственной отсталостью, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями...»

Сб. «Чернобыль». «Белорусская энциклопедия», 1996, с. 7, 24, 49, 101, 149

«По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля – в Швейцарии и Северной Италии, 1–2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, северной Греции, 3 мая – в Израиле, Кувейте, Турции...»

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го – в Индии, 5 и 6 мая – в США и Канаде.

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира...»

Сб. «Последствия Чернобыльской аварии в Беларуси». Минск.

Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии. 1992 г., с. 82.

«Четвертый реактор, именуемый объектом "Укрытие", по-прежнему хранит в своем свинцово-железобетонном чреве около 200 тонн ядерных материалов. Причем топливо частично перемешано с графитом и бетоном. Что с ними происходит сегодня, не знает никто.

Саркофаг сооружали наспех, конструкция уникальная, наверное, инженеры-разработчики из Питера могут ею гордиться. Служить она должна была тридцать лет. Однако монтировали его "дистанционно", плиты стыковывали с помощью роботов и вертолетов – отсюда и щели. Сегодня, согласно некоторым данным, общая площадь зазоров и трещин превышает 200 квадратных метров, из них продолжают вырываться радиоактивные аэрозоли. Если ветер дует с севера, то на юге – зольная активность: с ураном, плутонием, цезием. Мало того, в солнечный день при выключенном свете в реакторном зале видны столбы света, падающие сверху. Что это? Проникает внутрь и дождь. А при попадании влаги в топливосодержащие массы возможна цепная реакция...

Саркофаг – покойник, который дышит. Дышит смертью. На сколько его еще хватит? На это никто не ответит, до сих пор невозможно подобраться ко многим узлам и конструкциям, чтобы узнать, каков у них запас прочности. Зато все понимают: разрушение "Укрытия" привело бы к последствиям даже пострашнее, чем в 1986-ом...»

Журнал «Огонек», N 17, апрель 1996 г.

«До Чернобыля... на 100 тысяч белорусских жителей было 82 случая онкологических заболеваний. Сегодня статистика следующая: на 100 тысяч – 6 тысяч больных. Увеличение почти в 74 раза.

Смертность за последние десять лет увеличилась на 23,5%. От старости умирает 1 человек из 14, в основном трудоспособные – 46-50 лет. В наиболее зараженных областях при медицинском осмотре установлено: из 10 человек – семь больных. Едешь по деревням, и тебя поражает территория разросшихся кладбищ...»

«До сих пор многие цифры неизвестны.... Их все еще держат в тайне, так они чудовищны. Советский Союз послал на место катастрофы 800 тысяч солдат срочной службы и призванных на службу ликвидаторов, средний возраст последних был 33 года. А мальчишек взяли служить в армию сразу после школы...

Только в Беларуси значатся в списках ликвидаторов 115493 человека. По данным Минздрава, с 1990 по 2003 год 8553 ликвидаторов умерли. По два человека в день...»

«Так начиналась история...

1986 год... На первых полосах советских и зарубежных газет репортажи о суде над виновниками чернобыльской катастрофы...

А теперь... Представьте пустой пятиэтажный дом. Дом без жильцов, но с вещами, мебелью, одеждой, которые использовать уже никто и никогда не сможет. Потому что дом этот в Чернобыле... Но именно в таком доме мёртвого города давали небольшую пресс-конференцию для журналистов те, кому предстояло вершить суд над виновниками в атомной аварии. На самом высоком уровне, в ЦК КПСС решили, что дело должно рассматриваться на месте преступления. В самом Чернобыле. Суд состоялся в здании местного Дома культуры. На скамье подсудимых шестеро – директор атомной станции Виктор Брюханов, главный

инженер Николай Фомин, заместитель главного инженера Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора СССР Юрий Лаушкин.

Зрительские места пустые. Сидят одни журналисты. Впрочем, людей уже здесь и нет, город "закрыли", как "зону жесткого радиационного контроля". Не по этой ли причине его и избрали местом суда – чем меньше свидетелей, тем меньше шума? Нет телеоператоров, и нет западных журналистов. Конечно, на скамье подсудимых все хотели увидеть десятки ответственных чиновников, в том числе и московских. Свою ответственность должна была нести и современная наука. Но согласились на "стрелочников".

Приговор... Виктор Брюханов, Николай Фомин и Анатолий Дятлов получили по 10 лет. У других сроки были меньше. В заключении Анатолий Дятлов и Юрий Лаушкин умерли от последствий сильного радиационного облучения. Главный инженер Николай Фомин сошел с ума... А вот директор станции Виктор Брюханов отбыл срок наказания от звонка до звонка – все десять лет. Встречали его родные и несколько журналистов. Событие прошло незаметно.

Бывший директор живет в Киеве, служит обычным клерком в одной из фирм...

Так кончается история...»

«В скором времени Украина приступает к грандиозному строительству. Над саркофагом, накрывшем в 1986-м году разрушенный четвертый блок Чернобыльской АЭС, появится новое укрытие под названием "Арка". На этот проект 28 стран-доноров в ближайшее время выделяют первоначальные капиталовложения – свыше 768 миллионов долларов. Новое укрытие должно существовать уже не тридцать, а сто лет. И задумано оно грандиознее, потому что должно иметь достаточный объем, чтобы там вести работы по перезахоронению отходов. Нужен массивный фундамент: фактически предстоит сделать искусственный скальный грунт из бетонных столбов и плит. Следом надо подготовить хранилище, куда станут перевозить радиоактивные отходы, извлеченные из-под старого саркофага. Новое укрытие будет изготовлено из стали высокого качества, способной выдержать гамма-излучение. Только металла потребует 18 тыс. тонн...

"Арка" станет беспрецедентным в истории человечества сооружением. Во-первых, поражают ее масштабы – это двойная оболочка высотой 150 метров. А по эстетике она приблизится к Эйфелевой башне...»

По материалам белорусских интернет-газет за 2002-2005 гг.

Одинокий человеческий голос

«Я не знаю, о чем рассказывать... О смерти или о любви? Или это одно и то же... О чем?

...Мы недавно поженились. Еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Всегда вдвоем. Я говорила ему: "Я тебя люблю". Но я еще не знала, как я его любила. Не представляла... Жили мы в общежитии пожарной части, где он служил. На втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня. А внизу, на первом этаже, стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба. Всегда я в курсе: где он, что с ним? Среди ночи слышу какой-то шум. Крики. Выглянула в окно. Он увидел меня: "Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду".

Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все словно светилось... Все небо... Высокое пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. Копоть оттого, что битум горел, крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал, как по смоле. Сбивали огонь, а он полз. Поднимался. Сбрасывали горящий графит ногами... Уехали они без брезентовых костюмов, как были в одних рубашках, так и уехали. Их не предупредили, их вызвали на обыкновенный пожар...

Четыре часа... Пять часов... Шесть... В шесть мы с ним собирались ехать к его родителям. Сажать картошку. От города Припять до деревни Сперижье, где жили его родители, сорок километров. Сеять, пахать... Он это любит... Мать часто вспоминала, как не хотели они с отцом отпускать его в город, даже новый дом построили. Забрали в армию. Служил в Москве в пожарных войсках, и когда вернулся: только в пожарники! Ничего другого не признавал. (*Молчит.*)

Иногда будто слышу его голос... Живой... Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но он никогда меня не зовет. И во сне... Это я его зову...

Семь часов... В семь часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояла кольцом милиция, никого не пускали. Одни машины "Скорой помощи" заезжали. Милиционеры кричали: к машинам не приближайтесь, счётчики зашкаливают! Не одна я, все жены прибежали, все, у кого мужья в эту ночь оказались на станции. Я бросилась искать свою знакомую, она работала врачом в этой больнице. Схватила ее за халат, когда она выходила из машины: "Пропусти меня!" – "Не могу! С ним плохо. С ними со всеми плохо". Держу ее: "Только посмотреть". "Ладно, – говорит, – тогда бежим. На пятнадцать–двадцать минут". Я увидела его... Отекший весь, опухший... Глаз почти нет... "Надо молока. Много молока! – сказала мне знакомая. – Чтобы они выпили хотя бы по три литра". – "Но он не пьет молоко". – "Сейчас будет пить". Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы через какое-то время заболеют. Умрут. Но никто тогда этого не знал...

В десять утра умер оператор Шишенок. Он умер первым... В первый день... Мы узнали, что под развалинами остался второй – Валера Ходемчук. Так его и не достали. Забетонировали. Но мы еще не знали, что они все будут первыми...

Спрашиваю: "Васенька, что делать?" – "Уезжай отсюда! Уезжай! У тебя будет ребенок". Я – беременная. Но как я его оставлю? Просит: "Уезжай! Спасай ребенка!" – "Сначала я должна принести тебе молоко, а потом решим".

Прибегает моя подруга Таня Кибенок... Ее муж в этой же палате. С ней ее отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком, километра три за город... Покупаем много трехлитровых банок с молоком... Шесть – чтобы хватило на всех... Но от

молока их страшно рвало... Все время теряли сознание, им ставили капельницы. Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации. А город заполнился военной техникой, перекрыли все дороги. Везде солдаты. Перестали ходить электрички, поезда. Мыли улицы каким-то белым порошком... Я волновалась, как же мне завтра добраться в деревню, чтобы купить ему парного молока? Никто не говорил о радиации. Одни военные ходили в респираторах... Горожане несли хлеб из магазинов, открытые кулечки с конфетами. Пирожные лежали на лотках... Обычная жизнь. Только... Мыли улицы каким-то порошком...

Вечером в больницу не пропустили. Море людей вокруг... Я стояла напротив его окна, он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно! В толпе кто-то расслышал: их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили: поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям! Не имеете права! Бились, царапались. Солдаты, уже стояла цепь в два ряда, нас отталкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву, но нам нужно принести им одежду, – та, в которой они были на станции, сгорела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом – через весь город... Прибежали с сумками, а самолет уже улетел. Нас специально обманули. Чтобы мы не кричали, не плакали...

Ночь... По одну сторону улицы автобусы, сотни автобусов (уже готовили город к эвакуации), а по другую сторону – сотни пожарных машин. Пригнали отовсюду. Вся улица – в белой пене. Мы по ней идем... Ругаемся и плачем...

По радио объявили: город эвакуируют на три-пять дней, возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы, будете жить в лесах. В палатках. Люди даже обрадовались – поедем на природу! Встретим там Первое мая. Необычно. Готовили в дорогу шашлыки, покупали вино. Брали с собой гитары, магнитофоны. Любимые майские праздники! Плакали только те, чьи мужья пострадали.

Не помню, как доехала... Будто очнулась, когда увидела его мать: "Мама, Вася в Москве! Увезли специальным самолетом!" Но мы досадили огород – картошку, капусту (а через неделю деревню эвакуируют!) Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылась рвота. Я – на шестом месяце беременности. Мне так плохо... Ночью снится, что он меня зовет, пока он был жив, звал меня во сне: "Люся! Люсенька!" А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу... (Плачет.) Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву одна... "Куда ты такая?" – плачет мать. Собрали в дорогу и отца: "Пусть довезет тебя". Сняли со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги.

Дороги не помню... Дорога опять выпала из памяти... В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат чернобыльские пожарники, и он нам сказал, я даже удивилась, потому что нас пугали: государственная тайна, совершенно секретно.

Шестая больница – на "Щукинской"...

В эту больницу, специальная радиологическая больница, без пропусков не пускали. Я дала деньги вахтеру, и тогда она говорит: "Иди". Сказала, какой этаж. Кого-то я опять просила, молила... И вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением – Ангелины Васильевны Гуськовой. Тогда я еще не знала, как ее зовут, ничего не запоминала. Я знала только, что должна его увидеть. Найти.

Она сразу меня спросила:

– Миленькая моя! Миленькая моя... Дети есть?

Как я признаюсь?! И уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустит к нему! Хорошо, что я худенькая, ничего по мне незаметно.

– Есть. – Отвечаю.

– Сколько?

Думаю: "Надо сказать, что двое. Если один – все равно не пустит".

– Мальчик и девочка.

– Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай: центральная нервная система поражена полностью, костный мозг поражен полностью...

"Ну, ладно, – думаю, – станет немножко нервным".

– Еще слушай: если заплачешь – я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Ближко не подходить. Даю полчаса.

Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе!

Захожу... Они сидят на кровати, играют в карты и смеются.

– Вася! – кричат ему.

Поворачивается:

– О, братцы, я пропал! И здесь нашла!

Смешной такой, пижама на нем сорок восьмого размера, а у него – пятьдесят второй. Короткие рукава, короткие штанишки. Но опухоль с лица уже сошла... Им вливали какой-то раствор...

– А чего это ты вдруг пропал? – Спрашиваю.

И он хочет меня обнять.

– Сиди-сиди, – не пускает его ко мне врач. – Нечего тут обниматься.

Как-то мы это в шутку превратили. И тут уже все сбежались, и из других палат тоже. Все наши. Из Припяти. Их же двадцать восемь человек самолетом привезли. Что там? Что там у нас в городе? Я отвечаю, что началась эвакуация, весь город увозят на три или пять дней. Ребята молчат... А там были ещё две женщины, одна из них на проходной в день аварии дежурила, и она заплакала:

– Боже мой! Там мои дети. Что с ними?

Мне хотелось побыть с ним вдвоем, ну пусть бы одну минуточку. Ребята это почувствовали, каждый придумал какую-то причину, и они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся:

– Не садись рядом. Возьми стульчик.

– Да, глупости все это, – махнула я рукой. – А ты видел, где произошел взрыв? Что там? Вы ведь первые туда попали...

– Скорее всего, это вредительство. Кто-то специально устроил. Все наши ребята такого мнения.

Тогда так говорили. Думали.

На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор. Общаться друг с другом. Перестукивались через стенку: точка-тире, точка-тире... Точка... Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения, и то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, "зашкаливали" даже стены. Слева, справа и этаж под ними... Там всех выселили, ни одного больного... Под ними и над ними никого...

Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили: бери кастрюлю, бери миску, бери все, что тебе надо, не стесняйся. Это такие оказались люди... Такие! Я варила бульон из индюшки, на шесть человек. Шесть наших ребят... Пожарников... Из одной смены... Они все дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила... Я удивляюсь теперь своим знакомым, они, конечно, боялись, не могли не бояться, уже ходили всякие слухи, но все равно сами мне предлагали: бери все, что надо. Бери! Как он? Как они все? Они будут жить? Жить... *(Молчит.)* Встретила тогда много хороших людей, я не всех запомнила... Мир сузился до одной точки. Он... Только он... Помню пожилую санитарку, которая меня учила: "Есть болезни, которые не излечиваются. Надо сидеть и гладить руки".

Рано утром еду на базар, оттуда – к своим знакомым, варю бульон. Все протереть, покрошить, разлить по порциям Кто-то попросил: "Привези яблочко". С шестью поллитровыми баночками... Всегда на шестерых! В больницу... Сажу до вечера. А вечером – опять в другой конец города. Насколько бы меня так хватило? Но через три дня сказали, что можно жить в гостинице для медработников, на территории самой больницы. Боже, какое счастье!!

– Но там нет кухни. Как я буду им готовить?

– Вам уже не надо готовить. Их желудки перестают воспринимать еду.

Он стал меняться – каждый день я уже встречала другого человека... Ожоги выходили наверх... Во рту, на языке и щеках, сначала появились маленькие язвочки, потом они разрослись. Пластами отходила слизистая, пленочками белыми. Цвет лица... Цвет тела... Синий... Красный... Серо-бурый... А оно такое все мое, такое любимое! Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Спасало то, что все это происходило мгновенно, некогда было думать, некогда было плакать.

Я любила его! Я еще не знала, как я его любила! Мы только поженились, ещё не нарадовались друг другу... Идем по улице. Схватит меня на руки и закружится. И целует, целует. Люди идут мимо, и все улыбаются.

Клиника острой лучевой болезни – четырнадцать дней... За четырнадцать дней человек умирает...

В гостинице в первый же день дозиметристы меня замеряли. Одежда, сумка, кошелек, туфли, – все "горело". И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат пятьдесят шестого размера на мой сорок четвертый, а тапочки сорок третьего вместо тридцать седьмого. Одежду, сказали, может, привезем, а может, и нет, навряд ли она поддается "чистке". В таком виде я и появилась перед ним. Испугался: "Батюшки, что с тобой?" А я все-таки ухитрилась варить бульон. Ставила кипяtilьник в стеклянную банку... Туда бросала кусочки курицы... Маленькие-маленькие... Потом кто-то отдал мне свою кастрюльку, кажется, уборщица или дежурная гостиницы. Кто-то – досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара, кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно, он не мог даже пить... проглотить сырое яйцо... А мне хотелось достать что-нибудь вкусненькое! Будто это могло помочь. Добежала до почты: "Девочки, – прошу, – мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж". Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж, моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мои вещи. Деньги.

Девятого мая... Он всегда мне говорил: "Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела". Сажу возле него в палате, открыл глаза:

– Сейчас день или вечер?

– Девять вечера.

– Открывай окно! Начинается салют!

Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.

– Вот это да!

– Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы...

Оглянулась – достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги – и она купила.

Подбежала и целую:

– Мой единственный! Любовь моя!

Разворчался:

– Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать! Нельзя целовать!

Мне запрещали его обнимать. Гладить... Но я... Я поднимала и усаживала его на кровать. Перестилала постель, ставила градусник, приносила и уносила судно... Вытирала... Всю ночь – рядом. Сторожила каждое его движение. Вдох.

Хорошо, что не в палате, а в коридоре... У меня закружилась голова, я ухватилась за подоконник... Мимо шел врач, он взял меня за руку. И неожиданно:

– Вы беременная?

– Нет-нет! – Я так испугалась, что нас кто-нибудь услышит.

– Не обманывайте, – вздохнул он.

Я так растерялась, что не успела его ни о чем попросить.

Назавтра меня вызывают к заведующей:

– Почему вы меня обманули? – строго спросила она.

– Не было выхода. Скажи я правду – отправили бы домой. Святая ложь!

– Что вы натворили!!

– Но я с ним...

– Миленькая ты моя! Миленькая моя...

Всю жизнь буду благодарна Ангелине Васильевне Гуськовой. Всю жизнь!

Другие жены тоже приезжали, но их уже не пустили. Были со мной их мамы: мамам разрешили... Мама Володи Правика все время просила Бога: "Возьми лучше меня".

Американский профессор, доктор Гейл... Это он делал операцию по пересадке костного мозга... Утешал меня: надежда есть, маленькая, но есть. Такой могучий организм, такой сильный парень! Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Беларуси, брат из Ленинграда – он там служил. Младшая Наташа, ей было четырнадцать лет, очень плакала и

боялась. Но ее костный мозг подошел лучше всех... *(Замолкает.)* Я уже могу об этом рассказывать... Раньше не могла. Я десять лет молчала. Десять лет... *(Замолкает.)*

Когда он узнал, что костный мозг берут у его младшей сестрички, наотрез отказался: "Я лучше умру. Не трогайте ее, она маленькая". Старшей сестре Люде было двадцать восемь лет, она сама медсестра, понимала, на что идет. "Только бы он жил", – говорила она. Я видела операцию. Они лежали рядышком на столах... Там большое окно в операционном зале. Операция длилась два часа... Когда кончили, хуже было Люде, чем ему, у нее на груди восемнадцать проколов, тяжело выходила из наркоза. И сейчас болеет, на инвалидности... Была красивая, сильная девушка. Замуж не вышла... А я тогда металась из одной палаты в другую, от него – к ней. Он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере, за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. Там такие специальные приспособления есть, чтобы, не заходя под пленку, делать уколы, ставить катетер... Все на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться... Тихонько плёнку отодвину и проберусь к нему... В конце концов возле его кровати мне поставили маленький стульчик. Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти, ни на минуту. Звал меня постоянно: "Люся, где ты? Люсенька!" Звал и звал... Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судно. Протирали полы, меняли постельное белье... Полностью обслуживали. Откуда там появились солдаты? Не спрашивала... Только он... Он... А каждый день слышу: умер, умер... Умер Тищура. Умер Титенок. Умер... Как молотком по темечку...

Стул двадцать пять-тридцать раз в сутки. С кровью и слизью. Кожа начала трескаться на руках, ногах... Все тело покрылось волдырями. Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос... А все такое родное. Любимое... Я пыталась шутить: "Даже удобно. Не надо носить расческу". Скоро их всех постригли. Его я стригла сама. Я все хотела ему делать сама. Если бы я могла выдержать физически, то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко... Минутку, и то жалко... *(Закрывает лицо руками и молчит.)* Приехал мой брат и испугался: "Я тебя туда не пущу!" А отец говорит ему: "Такую разве не пустишь? Да она в окно влезет! По пожарной лестнице!"

Отлучилась... Возвращаюсь – на столике у него апельсин... Большой, не желтый, а розовый. Улыбается: "Меня угостили. Возьми себе". А медсестра через пленочку машет, что нельзя этот апельсин есть. Раз он возле него какое-то время полежал, его не то что есть, к нему прикоснуться страшно. "Ну, съешь, – просит. – Ты же любишь апельсины". Я беру апельсин в руки. А он в это время закрывает глаза и засыпает. Ему все время давали уколы, чтобы он спал. Наркотики. Медсестра смотрит на меня в ужасе... А я? Я готова сделать все, чтобы он только не думал о смерти... И о том, что болезнь его ужасная, что я его боюсь... Обрывок какого-то разговора... Кто-то меня увещевает: "Вы не должны забывать, что перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца. Возьмите себя в руки". А я как умалишенная: "Я его люблю! Я его люблю!" Он спал, я шептала: "Я тебя люблю!" Шла по больничному двору: "Я тебя люблю!" Несла судно: "Я тебя люблю!" Вспоминала, как мы с ним раньше жили. В нашем общежитии... Он засыпал ночью только тогда, когда возьмет меня за руку. У него была такая привычка: во сне держать меня за руку. Всю ночь.

А в больнице я возьму его за руку и не отпускаю...

Ночь. Тишина. Мы одни. Посмотрел на меня внимательно-внимательно и вдруг говорит:

– Так хочу увидеть нашего ребенка. Какой он?

– А как мы его назовем?

– Ну, это ты уже сама придумаешь...

– Почему я сама, если нас двое?

– Тогда, если родится мальчик, пусть будет Вася, а если девочка – Наташка.

– Как это Вася? У меня уже есть один Вася. Ты! Мне другого не надо.

Я еще не знала, как я его любила! Он... Только он... Как слепая! Даже не чувствовала толчков под сердцем.. Хотя была уже на шестом месяце... Я думала, что она внутри меня, моя маленькая, и она защищена. Моя маленькая...

О том, что ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал. Не догадывался. Пускали меня медсестры. Первое время тоже уговаривали: "Ты – молодая. Что ты надумала? Это уже не человек, а реактор. Сгорите вместе". Я, как собачка, бегала за ними... Стояла часами под дверью. Просила-умоляла. И тогда они: "Черт с тобой! Ты – ненормальная". Утром перед восьмью часами, когда начинался врачебный обход, показывают через пленку: "Беги!". На час сбегая в гостиницу. А с девяти утра до девяти вечера у меня пропуск. Ноги у меня до колен посинели, распухли, настолько я уставала. Моя душа была крепче тела. Моя любовь...

Пока я с ним... этого не делали... Но когда уходила, его фотографировали... Одежды никакой. Голый. Одна легкая простыночка поверх. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови. Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки кожи, прилипают. Прошу: "Миленький! Помоги мне! Обопрись на руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила, не оставила ни одного шва, ни одной складочки". Любой шовчик – это уже рана на нем. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить. Никто из медсестер не решался подойти, прикоснуться, если что-нибудь нужно, звали меня. И они... Они фотографировали... Говорили, для науки. А я бы их всех вытолкнула оттуда! Кричала бы и била! Как они могут! Если бы я могла их туда не пустить... Если бы...

Выйду из палаты в коридор... И иду на стенку, на диван, потому что я ничего не вижу. Остановлю дежурную медсестру: "Он умирает". – Она мне отвечает: "А что ты хочешь? Он получил тысяча шестьсот рентген, а смертельная доза четыреста." Ей тоже жалко, но по-другому. А оно все мое... Все любимое.

Когда они все умерли, в больнице сделали ремонт... Стены скоблили, взорвали паркет и вынесли... Столярку.

Дальше – последнее... Помню обрывками. Все уплывает...

Ночь сижу возле него на стульчике... В восемь утра: "Васенька, я пойду. Я немножко отдохну". Откроет и закроет глаза – отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать не могла, так все болело, как уже стучит санитарка: "Иди! Беги к нему! Зовет беспощадно!" А в то утро Таня Кибенок так меня просила, звала: "Поедем со мной на кладбище. Я без тебя не смогу". В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. С Витей они были друзья, мы дружили семьями. За день до взрыва вместе сфотографировались у нас в общежитии. Такие они, наши мужья, там красивые! Веселые! Последний день нашей той жизни... Дочернобыльской... Такие мы счастливые!

Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре: "Как он там?" – "Пятнадцать минут назад умер". Как? Я всю ночь была у него. Только на три часа отлучилась! Встала у окна и кричала: "Почему? За что?" Смотрела на небо и кричала... На всю гостиницу... Ко мне боялись подойти... Опомнилась: напоследок его увижу! Увижу! Скатилась с лестницы... Он лежал еще в барокамере, не увезли. Последние слова его: "Люся! Люсенька!" – "Только отошла. Сейчас прибежит", – успокоила медсестра. Вздохнул и затих.

Я уже от него не оторвалась... Шла с ним до гроба... Хотя запомнила не сам гроб, а большой полиэтиленовый пакет... Этот пакет... В морге спросили: "Хотите, мы покажем вам, во что его оденем". Хочу! Одели в парадную форму, фуражку на грудь положили. Обувь не подобрали, потому что ноги распухли. Бомбы вместо ног. Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли, не было уже целого тела. Все – кровавая рана. В больнице последние два дня... Подниму его руку, а кость шатается, болтается кость, телесная ткань от нее отошла. Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот... Захлебывался своими внутренностями... Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот, все это из него выгребаю... Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Это все такое родное... Такое... Ни один размер обуви невозможно было натянуть... Положили в гроб босого...

На моих глазах... В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб... А гроб еще одним мешком обвязали... Целлофан прозрачный, но толстый, как клеенка. И уже все это поместили в цинковый гроб, еле втиснули. Одна фуражка наверху осталась.

Съехались все... Его родители, мои родители... Купили в Москве черные платки... Нас принимала чрезвычайная комиссия. Всем говорили одно и то же, что отдать вам тела ваших мужей, ваших сыновей мы не можем, они очень радиоактивные и будут похоронены на московском кладбище особым способом. В запаянных цинковых гробах, под бетонными плитками. И вы должны этот документ подписать. Нужно ваше согласие. Если кто-то возмущался, хотел увезти гроб на родину, его убеждали, что они, мол, герои и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди... Принадлежат государству.

Сели в катафалк... Родственники и какие-то военные люди. Полковник с рацией... По рации передают: "Ждите наших приказаний! Ждите!" Два или три часа колесили по Москве, по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся... По рации: "На кладбище въезд не разрешаем. Кладбище атакуют иностранные корреспонденты. Еще подождите". Родители молчат... Платок у мамы черный... Я чувствую, что теряю сознание. Со мной истерика: "Почему моего мужа надо прятать? Он – кто? Убийца? Преступник? Уголовник? Кого мы хороним?" Мама: "Тихо, тихо, дочечка". Гладит меня по голове, берет за руку. Полковник передает: "Разрешите следовать на кладбище. С женой истерика". На кладбище нас окружили солдаты. Шли под конвоем. И гроб несли под конвоем. Никого не пустили попрощаться... Одни родственники... Засыпали моментально. "Быстро! Быстро!" – командовал офицер. Даже не дали гроб обнять.

И сразу – в автобусы...

Мгновенно купили и принесли обратные билеты... На следующий день... Все время с нами был какой-то человек в штатском, с военной выправкой, не дал даже выйти из номера и купить еду в дорогу. Не дай Бог, чтобы мы с кем-нибудь заговорили, особенно я. Как будто я тогда могла говорить, я уже даже плакать не могла. Дежурная, когда мы уходили, пересчитала все полотенца, все простыни... Тут же их складывала в полиэтиленовый мешок. Наверное, сожгли... За гостиницу мы сами заплатили. За четырнадцать суток...

Клиника лучевой болезни – четырнадцать суток... За четырнадцать суток человек умирает...

Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я спала трое суток. Меня не могли поднять... Приехала "скорая помощь". "Нет, – сказал врач, – она не умерла. Она проснется. Это такой страшный сон".

Мне было двадцать три года...

Я помню сон... Приходит ко мне моя умершая бабушка, в той одежде, в которой мы ее похоронили. И наряжает елку. "Бабушка, почему у нас елка? Ведь сейчас лето?" – "Так надо.

Скоро твой Васенька ко мне придет". А он вырос среди леса. Я помню... Второй сон... Вася приходит в белом и зовет Наташу. Нашу девочку, которую я еще не родила. Уже она большая, и я удивляюсь: когда она так подросла? Он подбрасывает ее под потолок, и они смеются... А я смотрю на них и думаю, что счастье – это так просто. Так просто! А потом мне приснилось... Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идем... Просил, наверное, чтобы я не плакала. Давал знак оттуда. Сверху. *(Затихает надолго.)*

Через два месяца я приехала в Москву. С вокзала – на кладбище. К нему! И там на кладбище у меня начались схватки. Только я с ним заговорила... Вызвали "скорую". Я дала адрес. Рожала я там же... У той же Ангелины Васильевны Гуськовой... Она меня еще тогда предупредила: "Рожать приезжай к нам". А куда я такая еще поеду? Родила я на две недели раньше срока...

Мне показали... Девочка... "Наташенька, – позвала я. – Папа назвал тебя Наташенькой". На вид здоровый ребенок. Ручки, ножки... А у нее был цирроз печени... В печени – двадцать восемь рентген... Врожденный порок сердца... Через четыре часа сказали, что девочка умерла. И опять... мы ее вам не отдадим! Как это не отдадите?! Это я ее вам не отдам! Вы хотите ее забрать для науки, а я ненавижу вашу науку! Ненавижу! Она забрала у меня сначала его, а теперь еще ждет... Не отдам! Я похороню ее сама. Рядом с ним... *(Переходит на шёпот)*

Все не те слова вам говорю... Не такие... Нельзя мне кричать после инсульта. И плакать нельзя. Но я хочу... Хочу, чтобы знали... Еще никому не признавалась... Когда я не отдала им мою маленькую девочку. Нашу девочку... Тогда они принесли мне деревянную коробочку: "Она – там". Я посмотрела: ее запеленали. Она лежала в пеленочках. И тогда я заплакала: "Положите ее у его ног. Скажите, что это наша Наташенька".

Там, на могилке не написано: Наташа Игнатенко... Там только его имя... Она же была еще без имени, без ничего... Только душа... Душу я там и похоронила...

Я прихожу к ним всегда с двумя букетами: один – ему, второй – на уголок кладу ей. Ползаю у могилы на коленках. Всегда на коленках... *(Бессвязно.)* Я ее убила... Я... она... спасла... Моя девочка меня спасла, она приняла весь радиоудар на себя, стала как бы приемником этого удара. Такая маленькая. Крохотулечка. *(Задыхаясь)* Она меня уберегла. Но я любила их двоих... Разве... Разве можно убить любовью? Такой любовью! Почему это рядом? Любовь и смерть. Всегда они вместе. Кто мне объяснит? Кто подскажет? Ползаю у могилы на коленках... *(Надолго затихает.)*

...В Киеве мне дали квартиру. В большом доме, где теперь живут все, кто уехал с атомной станции. Все знакомые. Квартира большая, двухкомнатная, о какой мы с Васей мечтали. А я сходила в ней с ума! В каждом углу, куда ни гляну – везде он. Его глаза... Начала ремонт, лишь бы не сидеть, лишь бы забыться. И так два года... Снится мне сон... Мы идем с ним, а он идет босиком. "Почему ты всегда необутый?" – "Да потому, что у меня ничего нет". Пошла в церковь... Батюшка меня научил: "Надо купить тапочки большого размера и положить кому-нибудь в гроб. Написать записку – что это ему". Я так и поступила. Приехала в Москву и сразу – в церковь. В Москве я к нему ближе... Он там лежит, на Митинском кладбище... Рассказываю служителю, что так и так, мне надо тапочки передать. Спрашивает: "А ведомо тебе, как это делать надо?" Еще раз объяснил... Как раз внесли отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. "А записку ты написала?" – "Да, написала, но не указала, на каком кладбище он лежит". – "Там они все в одном мире. Найдут его".

У меня никакого желания жить не было. Ночью стою у окна, смотрю на небо: "Васенька, что мне делать? Я не хочу без тебя жить". Днем иду мимо детского садика, встану и стою...

Глядела бы и глядела на детей... Я сходила с ума! И стала ночью просить: "Васенька, я рожу ребенка. Я уже боюсь быть одна. Не выдержу дальше. Васенька!!" А в другой раз так попрошу: "Васенька, мне не надо мужчины. Лучше тебя для меня нет. Я хочу ребеночка".

Мне было двадцать пять лет...

Я нашла мужчину... Всё ему рассказала... Всю правду: у меня одна любовь, на всю жизнь. Я все ему открыла... Мы встречались, но я никогда его в дом к себе не звала, в дом не могла. Там – Вася...

Работала я кондитером. Леплю торт, а слезы катятся. Я не плачу, а слезы катятся. Единственное, о чем девочек просила: "Не жалейте меня. Будете жалеть, я уйду". Не надо меня жалеть... Я когда-то была счастливая...

Принесли мне Васин орден. Красного цвета... Я смотреть на него долго не могла. Слезы катятся...

Родила мальчика. Андрей... Андрейка... Подруги останавливали: "Тебе нельзя рожать", и врачи пугали: "Ваш организм не выдержит". Потом... Потом они сказали, что он будет без ручки... Без правой ручки... Аппарат показывал... "Ну, и что? – думала я. – Научу писать его левой ручкой". А родился нормальный... красивый мальчик... Учится уже в школе, учится на одни пятерки. Теперь у меня есть кто-то, кем я дышу и живу. Свет в моей жизни. Он прекрасно все понимает: "Мамочка, если я уеду к бабушке, на два дня, ты дышать сможешь?" Не смогу! Боюсь на день с ним разлучиться. Мы шли по улице... И я, чувствую, падаю... Тогда меня разбил первый инсульт... Там, на улице... "Мамочка, тебе водички дать". – "Нет, ты стой возле меня. Никуда не уходи". И хватанула его за руку. Дальше не помню... Открыла глаза в больнице... Я так хватанула Андрейку за руку, что врачи еле разжали мои пальцы. У него рука долго была синяя. Теперь выходим из дома: "Мамочка, только не хватай меня за руку. Я никуда от тебя не уйду". Он тоже болеет: две недели в школе, две – дома с врачом. Вот так и живем. Боимся друг за друга. А в каждом углу Вася... Его фотографии... Ночью с ним говорю и говорю... Бывает, меня во сне попросит: "Покажи нашего ребеночка". Мы с Андрейкой приходим ... А он приводит за руку дочку. Всегда с дочкой. Играет только с ней...

Так я и живу... Живу одновременно в реальном и нереальном мире. Не знаю, где мне лучше... *(Встает. Подходит к окну.)* Нас тут много. Целая улица, ее так и называют – чернобыльская. Всю свою жизнь эти люди на станции проработали. Многие до сих пор ездят туда на вахту, теперь станцию обслуживают вахтовым методом. Никто там уже не живет и жить никогда не будет. У них у всех тяжелые заболевания, инвалидности, но работу свою не бросают, боятся даже подумать об этом. У них нет жизни без реактора, реактор – их жизнь. Где и кому они сегодня нужны в другом месте? Часто умирают. Умирают мгновенно. Они умирают на ходу – шел и упал, уснул и не проснулся. Нес медсестре цветы и остановилось сердце. Стоял на автобусной остановке... Они умирают, но их никто по-настоящему не расспросил. О том, что мы пережили... Что видели... О смерти люди не хотят слушать. О страшном...

Но я вам рассказала о любви... Как я любила...»

*Людмила Игнатенко,
жена погибшего пожарника
Василия Игнатенко*

Интервью автора с самой собой о пропущенной истории и о том, почему Чернобыль ставит под сомнение нашу картину мира

– Я – свидетель Чернобыля... Самого главного события двадцатого века, несмотря на страшные войны и революции, которыми будет памятен этот век. Прошло больше двадцать лет после катастрофы, но до сих пор для меня вопрос – о чем я свидетельствую: о прошлом или о будущем? Так легко соскользнуть в банальность... В банальность ужаса... Но я смотрю на Чернобыль как на начало новой истории, он не только знание, а и предзнание, потому что человек вступил в спор с прежними представлениями о себе и о мире. Когда мы говорим о прошлом или о будущем, то вкладываем в эти слова свои представления о времени, но Чернобыль – это прежде всего, катастрофа времени. Радионуклиды, разбросанные по нашей земле, будут жить пятьдесят, сто, двести тысяч лет... И больше... С точки зрения человеческой жизни, они – вечные. Что же мы способны понять? В наших ли силах добыть и распознать смысл в этом, еще незнакомом нам ужасе?

О чем эта книга? Почему я ее написала?

– Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. О самом событии написаны уже тысячи страниц и сняты сотни тысяч метров киноплёнки. Я же занимаюсь тем, что назвала бы пропущенной историей, бесследными следами нашего пребывания на земле и во времени. Пишу и собираю повседневность чувств, мыслей, слов. Пытаюсь застичь быт души. Жизнь обычного дня обычных людей. Здесь же все необычно: и событие, и люди, когда они обживали новое пространство. Чернобыль для них – не метафора, не символ, он – их дом. Сколько раз искусство репетировало апокалипсис, предлагало разные технологические версии светопредставления, но теперь мы точно знаем, что жизнь куда! фантастичнее. Через год после катастрофы меня кто-то спросил: «Все пишут. А вы живете здесь и не пишете. Почему?» А я не знала, как об этом писать, с каким инструментом и откуда подступиться. Если раньше, когда писала свои книги, я вглядывалась в страдания других, то сейчас я и моя жизнь стали частью события. Слепились воедино, не отойти на расстояние. Имя моей маленькой, затерянной в Европе страны, о которой мир раньше почти ничего не слышал, зазвучало на всех языках, она превратилась в дьявольскую чернобыльскую лабораторию, а мы, белорусы, стали чернобыльским народом. Где бы я теперь ни появлялась, все с любопытством оглядывались: «А, вы оттуда? Что там?» Конечно, можно было быстро написать книгу, какие потом появлялись одна за другой – что случилось в ту ночь на станции, кто виноват, как скрывали аварию от мира и от собственного народа, сколько тонн песка и бетона понадобилось, чтобы соорудить саркофаг над дышащим смертью реактором, – но что-то меня останавливало. Держало за руку. Что? Ощущение тайны. Это скоропостижно вселившееся в нас ощущение витало тогда над всем: нашими разговорами, действиями, страхами и следовало вслед за событием. Событием-чудовищем. У всех появилось высказанное или невысказанное чувство, что мы прикоснулись к неведомому. Чернобыль – это тайна, которую нам еще предстоит разгадать. Непрочтенный знак. Может быть, загадка на двадцать первый век. Вызов ему. Стало ясно: кроме коммунистических, национальных и новых религиозных вызовов, среди которых живем и выживаем, впереди нас ждут другие вызовы, более свирепые и тотальные, но пока еще скрытые от глаз. Но что-то уже после Чернобыля приоткрылось...

Ночь 26 апреля 1986 года... За одну ночь мы переместились в другое место истории. Совершили прыжок в новую реальность, и она, эта реальность, оказалась выше не только нашего знания, но и нашего воображения. Порвалась связь времен... Прошлое вдруг

оказалось беспомощным, в нем не на что было опереться, в вездесущем (как мы верили) архиве человечества не нашлось ключей, чтобы открыть эту дверь. Я не раз слышала в те дни: «таких слов не подберу, чтобы передать то, что я видела и пережила», «никто раньше мне ничего подобного не рассказывал», «ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел». Между временем, когда случилась катастрофа, и тем временем, когда о ней начали рассказывать, была пауза. Момент немoty... Он запомнился всем... Где-то наверху принимали какие-то решения, сочиняли секретные инструкции, поднимали в небо вертолеты, двигали по дорогам огромное количество техники, внизу – ждали сообщений и боялись, жили слухами, но все молчали о главном – что же все-таки произошло? Не находили слов для новых чувств и не находили чувств для новых слов, не умели еще выразиться, но постепенно погружались в атмосферу нового думанья, так можно сегодня определить то наше состояние. Просто фактов уже не хватало, тянуло заглянуть за факт, войти в смысл происходящего. Эффект потрясения! И я искала этого потрясенного человека... Он говорил новые тексты... Голоса иногда пробивались, как будто сквозь сон или бред, из параллельного мира. Рядом с Чернобылем все начинали философствовать. Становились философами. Храмы опять заполнились людьми... Верующими и недавними атеистами... Искали ответов, которые не могли дать физика и математика. Трехмерный мир раздвинулся, и я не встречала смельчаков, которые бы снова могли поклясться на Библии материализма. Ярko вспыхнула бесконечность. Замолчали философы и писатели, выбитые из знакомой колеи культуры и традиции. Интереснее всего в те первые дни было разговаривать не с учеными, не с чиновниками и военными с большими погонами, а со старыми крестьянами. Живут они без Толстого и Достоевского, без интернета, но их сознание каким-то образом вместило в себя новую картину мира. Не разрушилось. Наверное, мы все скорее бы справились с военной атомной ситуацией, как в Хиросиме, собственно, к ней и готовились. Но катастрофа случилась на невоенном атомном объекте, а мы были люди своего времени и верили, как нас учили, что советские атомные станции самые надежные в мире, их можно строить даже на Красной площади. Военный атом – это Хиросима и Нагасаки, а мирный атом – это электрическая лампочка в каждом доме. Никто еще не догадывался, что военный и мирный атом – близнецы. Сообщники. Мы поумнели, весь мир поумнел, но поумнел он после Чернобыля. Сегодня белорусы, как живые «черные ящики», записывают информацию для будущего. Для всех.

Я долго писала эту книгу... Почти двадцать лет... Встречалась и разговаривала с бывшими работниками станции, учеными, медиками, солдатами, переселенцами, самоселами... С теми, для кого Чернобыль – основное содержание их мира, все внутри и вокруг отравлено им, а не только земля и вода. Они рассказывали, искали ответы... Мы думали вместе. Часто они торопились, боялись не успеть, я еще не знала, что цена их свидетельствам – жизнь. «Запишите, – повторяли, – мы не все поняли, что видели, но пусть останется. Кто-то прочтет и поймет. Потом... После нас...» Не зря они торопились, многих уже нет в живых. Но они успели послать сигнал...

– Все, что нам известно об ужасах и страхах, больше всего связано с войной. Сталинский ГУЛАГ и Освенцим – недавние приобретения зла. История всегда была историей войн и полководцев, и война являлась, скажем так, мерой ужаса. Поэтому люди смешивают понятия войны и катастрофы... В Чернобыле мы видим как будто бы все признаки войны: много солдат, эвакуация, оставленное жилье. Нарушен ход жизни. Чернобыльская информация в газетах сплошь из военных слов: атом, взрыв, герои... И это затрудняет понимание того, что мы находимся в новой истории... Началась история катастроф... Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался над этим никогда, он прячется за то, что ему знакомо. За прошлое. Даже памятники героям Чернобыля похожи на военные...

– Моя первая поездка в зону...

Цвели сады, радостно блестела на солнце молодая трава. Пели птицы. Такой знакомый... знакомый... мир. Первая мысль: все на месте и все – как прежде. Та же земля, та же вода, те же деревья. И форма, и цвет, и запах у них вечные, никто не в силах тут что-либо изменить. Но уже в первый день мне объяснили: цветы рвать не надо, на земле лучше не сидеть, воду из родника не пить. К вечеру наблюдала, как пастухи хотели загнать в реку усталое стадо, но коровы подходили к воде и тут же поворачивали назад. Как-то они догадывались об опасности. А кошки, рассказывали мне, перестали есть дохлых мышей, а те валялись везде: в поле, во дворах. Смерть таилась повсюду, но это была какая-то другая смерть. Под новыми масками. В незнакомом облики. Человека застигли врасплох, он был не готов. Не готов, как биовид, не срабатывал весь его природный инструмент, который настроен, чтобы увидеть, услышать, потрогать. Это уже было невозможно, глаза, уши, пальцы не годились, не могли послужить, потому что радиация не видна, и у нее нет запаха и звука. Она бестелесна. Всю жизнь мы воевали или готовились к войне, столько о ней знаем – и вдруг! Образ врага изменился. У нас появился другой враг. Враги... Убивала скошенная трава. Пойманная рыба, пойманная дичь. Яблоко... Мир вокруг нас, раньше податливый и дружелюбный, теперь внушал страх. Старые люди, уезжая в эвакуацию и еще не представляя, что навсегда – смотрели на небо: «Солнце светит... Нет ни дыма, ни газа. Не стреляют. Ну разве это война? А надо становиться беженцами...» Знакомый... незнакомый... мир.

Как понять, где мы находимся. Что с нами происходит? Здесь... Сейчас... Спросить не у кого...

В зоне и вокруг зоны... Поражало бесчисленное количество военной техники. Маршировали солдаты с новенькими автоматами. С полной боевой выкладкой. Мне больше всего почему-то запомнились не вертолеты и бронетранспортеры, а эти автоматы... Оружие... Человек с ружьем в зоне... В кого он мог там стрелять и от кого защитить? От физики? От невидимых частиц? Расстрелять зараженную землю или дерево? На самой станции работал КГБ. Искали шпионов и диверсантов, ходили слухи, что авария – запланированная акция западных спецслужб, чтобы подорвать лагерь социализма. Надо быть бдительными.

Эта картина войны... Эта культура войны рухнула у меня на глазах. Мы вошли в непрозрачный мир, где зло не дает никаких объяснений, не раскрывает себя и не знает законов.

Я видела, как дочернобыльский человек превращался в чернобыльского человека.

– Не один раз... И тут есть о чем подумать. Я слышала мнение, что поведение пожарников, тушивших в первую ночь пожар на атомной станции, и ликвидаторов напоминает самоубийство. Коллективное самоубийство. Ликвидаторы часто работали без защитной спецодежды, беспрекословно отправлялись туда, где «умирали» роботы, от них скрывали правду о полученных высоких дозах, и они с этим мирились, а потом еще радовались полученным правительственным грамотами и медалям, которые им вручали перед смертью... А многим и не успевали вручить... Так кто они все-таки: герои или самоубийцы? Жертвы советских идей и воспитания? Почему-то со временем забывается, что они спасли свою страну. Спасли Европу. Только на секунду представить себе картину, если бы взорвались остальные три реактора...

– Они – герои. Герои новой истории. Их сравнивают с героями Сталинградской битвы или сражения под Ватерлоо, но они спасали нечто большее, чем родное отечество, они спасали саму жизнь. Время жизни. Живое время. Чернобылем человек замахнулся на все, на

весь божественный мир, где, кроме человека, живут тысячи других существ, животных и растений. Когда я приходила к ликвидаторам... И слушала их рассказы о том, как они (первые и впервые!) занимались новым человеческим нечеловеческим делом – хоронили землю в земле, то есть закапывали зараженные пласты в специальных бетонных бункерах вместе со всем их населением – жуками, пауками, личинками. Разнообразными насекомыми, чьих даже имен не знали. Не помнили. У них было совершенно иное понимание смерти, оно распространялось на все – от птицы до бабочки. Их мир был уже другим миром – с новым правом жизни, с новой ответственностью и новым чувством вины. В их рассказах постоянно присутствовала тема времени, они говорили «впервые», «никогда больше», «навсегда». Вспоминали, как ездили по опустевшим деревням и встречали там иногда одиноких стариков, которые не захотели уехать вместе со всеми или потом вернулись из чужих краев: сидели те вечером при лучине, косили косой, жали серпом, лес валили топором, обращались в молитвах к зверям и духам. К Богу. Все как и двести лет назад, а где-то наверху летали космические корабли. Время укусило свой хвост, начало и конец соединились. Чернобыль для тех, кто там был, не кончился в Чернобыле. Они вернулись не с войны, а как будто из другого мира. Я поняла, что свои страдания они совершенно сознательно обращали в новое знание, дарили нам: смотрите, вам надо будет что-то с этим знанием делать, как-то его употребить.

Памятник героям Чернобыля... Это – рукотворный саркофаг, в который они уложили ядерный огонь. Пирамида двадцатого века.

– На чернобыльской земле жалко человека. Но еще больше жалко зверя... Я не оговорила. Сейчас поясню... Что оставалось в мертвой зоне после того, как уходили люди? Старые погосты и биомогильники, так называются кладбища для животных. Человек спасал только самого себя, всех остальных он предал, после его отъезда в деревни входили отряды солдат или охотников и расстреливали животных. А собаки бежали на человеческий голос... и кошки... И лошади ничего не могли понять... А они-то ни в чем не виновны – ни звери, ни птицы, и умирали они безмолвно, что еще страшнее. Когда-то индейцы в Мексике и даже наши предки в дохристианской Руси просили прощения у животных и птиц, которых убивали для пропитания. А в древнем Египте животное имело право на жалобу против человека. В одном из папирусов, сохранившемся в пирамиде, написано: «Не найдено ни одной жалобы быка против N». Перед уходом в царство мертвых египтянин читал молитву, в которой были и такие слова: «Я не обижал никакую тварь. Я не отнимал у животного ни зерна, ни травы».

Что дал чернобыльский опыт? Повернул ли он нас к этому молчаливому и таинственному миру «других»?

– Один раз я видела, как солдаты вошли в деревню, из которой ушли люди, и начали стрелять...

Беспомощные крики животных... Они кричали на разных своих языках... Об этом уже написано в Новом завете. Иисус Христос приходит в Иерусалимский храм и видит там животных, приготовленных к ритуальной жертве: с перерезанными горлами, истекающих кровью. Иисус закричал: «...вы превратили дом молитвы в вертеп разбойников». Он мог бы добавить – в бойню... Для меня сотни оставленных в зоне биомогильников – те же древние капища. Только какому из богов? Богу науки и знания или Богу огня? В этом смысле Чернобыль дальше Освенцима и Колымы. Дальше Холокоста. Он предлагает конечность. Упирается в ничто.

Другими глазами оглядываю мир вокруг... Ползет по земле маленький муравей, и он теперь мне ближе. Птица в небе летит, и она ближе. Между мной и ими расстояние сокращается. Нет прежней пропасти. Все – жизнь.

Запомнилось и такое... Рассказывал старый пасечник (а потом я слышала о том же и от других): «Вышел утром в сад, чего-то не хватает, какого-то знакомого звука. Ни одной пчелы... Не слышно ни одной пчелы! Ни одной! Что? Что такое? И на второй день они не вылетели. И на третий... Потом нам сообщили, что на атомной – авария, а она рядом. Но долго мы ничего не знали. Пчелы знали, а мы нет. Теперь, если что, буду на них смотреть. На их жизнь». Еще пример... Заговорила с рыбаками у реки, они вспомнили: «Мы ждали, когда нам по телевизору объяснят... Расскажут, как спастись. А червяки. Простые червяки. Они ушли глубоко в землю, может, на полметра или на метр. А нам же непонятно. Мы копали-копали. Ни одного червяка не нашли для рыбалки...»

Кто же из нас перее, прочнее и вечнее на земле – мы или они? Нам бы у них учиться как выжить. И как жить.

– Сошлись две катастрофы: социальная – на наших глазах развалился Советский Союз, ушел под воду гигантский социалистический материк, и космическая – Чернобыль. Два глобальных взрыва. И первый – ближе, понятнее. Люди озабочены днем и бытом: на что купить, куда поехать? Во что верить? Под какие знамена снова встать? Или надо учиться жить для себя, своей жизнью? Последнее нам незнакомо, не умеем, потому что ещё никогда так не жили. Это переживают все и каждый. А о Чернобыле хотели бы забыть, потому что сознание перед ним капитулировало. Катастрофа сознания. Мир наших представлений и ценностей взорван. Если бы мы победили Чернобыль или поняли до конца, то думали и писали бы о нем больше. А так живем в одном мире, а сознание существует в другом. Реальность ускользает, не вмещается в человека.

– Да... За реальностью не удается угнаться...

– Один пример... До сих пор пользуемся старыми понятиями: «далеко-близко», «своичужие»... Но что значит далеко или близко после Чернобыля, когда уже на четвертые сутки чернобыльские облака плыли над Африкой и Китаем? Земля вдруг оказалась такой маленькой, это не та земля, которая была во время Колумба. Бесконечная. Теперь у нас появилось другое ощущение пространства. Живем в обанкротившемся пространстве. Ещё... В последние сто лет человек стал жить дольше, но все равно его сроки ничтожны и крошечны рядом с жизнью радионуклидов, поселившихся на нашей земле. Многие из них будут жить тысячелетиями. Нам и не заглянуть в такую даль! Рядом с ними переживаешь другое чувство времени. И это всё – Чернобыль. Его следы. То же творится с нашими отношениями с прошлым, фантастикой, знаниями... Прошлое оказалось беспомощным, из знаний уцелело только знание о нашем незнании. Происходит перестройка чувств... Вместо обычных утешений врач говорит жене об умирающем муже: «Подходить близко нельзя! Целовать нельзя! Гладить нельзя! Это уже не любимый человек, а объект, подлежащий дезактивации». Тут и Шекспир отступает. И великий Данте. Вопрос: подойти – не подойти? Целовать – не целовать? Одна из моих героинь (как раз беременная в то время) подходила и целовала. И не оставила мужа до самой его смерти. За это она поплатилась своим здоровьем и жизнью их маленького ребенка. Ну а как было выбрать между любовью и смертью? Между прошлым и незнакомым настоящим? А кто возьмет на себя смелость и осудит тех жен и матерей, которые не сидели возле своих умирающих мужей и сыновей? Рядом с радиоактивными объектами... В их мире и любовь изменилась. И смерть.

Изменилось все, кроме нас.

– Чтобы событие стало историей, нужно хотя бы пятьдесят лет. А тут приходится идти по горячим следам...

– Зона... Отдельный мир... Сначала ее придумали фантасты, но литература отступила перед реальностью. Мы уже не можем, как герои Чехова, верить: через сто лет человек будет

прекрасен! Жизнь станет прекрасной! Это будущее мы потеряли. Через сто лет был сталинский ГУЛАГ, Освенцим... Чернобыль.... И сентябрь в Нью-Йорке... Непонятно, как это вместилось в жизнь одного поколения. Например, в жизнь моего отца, которому сейчас восемьдесят три года? Человек выжил!?

– Больше всего в Чернобыле запоминается жизнь «после всего»: вещи без человека, пейзажи без человека. Дорога в никуда, провода в никуда. Нет-нет, да и подумаешь, что это – прошлое или будущее?

– Мне иногда казалось, что я записываю будущее...

Глава первая

Земля мертвых

Монолог о том, зачем люди вспоминают

«У меня тоже есть вопрос. Сам я ответить на него не могу...

Но вы взялись об этом писать... Об этом? А я не хотел бы, чтобы обо мне это знали. Что я там испытал... С одной стороны, есть желание открыться, выговориться, а с другой, – чувствую, как я обнажаюсь, а мне бы этого не хотелось.

Помните, у Толстого? Пьер Безухов так потрясен после войны, что ему кажется: он и весь мир изменились навсегда. Но проходит какое-то время, и он замечает за собой, что снова так же ругает кучера, так же брюзжит. Зачем тогда люди вспоминают? Чтобы восстановить истину? Справедливость? Освободиться и забыть? Понимают, что они – участники грандиозного события? Или ищут в прошлом защиты? И это при том, что воспоминания – хрупкая вещь, эфемерная, это не точные знания, а догадка человека о самом себе. Это еще не знания, это только чувства.

Я мучался, рылся в памяти и вспомнил...

Самое страшное со мной было в детстве... Это – война...

Помню, как мы, пацаны, играли в "папы и мамы": раздевали малышей и клали их друг на дружку... Это были первые дети, родившиеся после войны. Вся деревня знала, какие слова они уже говорят, кто начал ходить, потому что за войну детей забыли. Мы ждали появления жизни. "В папы и мамы" – так называлась наша игра. Мы хотели увидеть появление жизни... А нам самим было по восемь-десять лет...

Я видел, как женщина сама себя убивала. В кустах у реки. Брала кирпич и била себя по голове. Она была беременная от полицая, которого вся деревня ненавидела. Еще ребенком я видел, как рождаются котята. Помогал матери тянуть теленка из коровы, водил на случку к кабану нашу свинью... Помню... Помню, как привезли убитого отца, на нем свитер, мама сама его вязала, отец, видимо, был расстрелян из пулемета или автомата, и что-то кровавое прямо кусками вылезало из этого свитера. Он лежал на нашей единственной кровати, больше положить было некуда. Потом его похоронили перед домом. И земля не пух, а тяжелая глина. С грядок для бураков. Кругом шли бои. На улице лежали убитые кони и люди...

Для меня это настолько запретные воспоминания, что я не говорил о них вслух...

Тогда я воспринимал смерть так же, как и рождение. У меня было примерно одинаковое чувство, когда появился теленок из коровы... Появлялись котята. И когда женщина в кустах убивала себя... Почему-то это казалось мне одним и тем же, одинаковым. Рождение и смерть...

Я помню с детства, как пахнет в доме, когда режут кабана... Вы только тронули меня, и я уже падаю, падаю туда. В кошмар... В ужас... Лечу...

Ещё помню как нас, маленьких, женщины брали с собой в баню. У многих женщин и у моей матери – выпадали матки (мы это уже понимали), они подвязывали их тряпками. Я это видел... Матки выходили от тяжелой работы. Мужчин не было, их на фронте, в партизанах перебили, коней не было тоже, женщины тягали плуги на себе. Перепахивали свои огороды,

колхозные поля. Когда я вырос, и у меня случалась близость с женщиной, я это вспоминал... То, что видел в бане...

Хотел забыть. Все забыть... Забывал... Я думал, что самое страшное со мной уже произошло. Это война. И я защищен, я теперь защищен. Своим знанием, тем, что там... тогда... пережил. Но...

Я поехал в чернобыльскую зону... Много раз уже был там... И там понял, что я беспомощен. И я разрушаюсь от этой своей беспомощности. От того, что я не узнаю мир, в котором все переменилось. Даже зло другое. Прошлое меня уже не защищает. Не успокаивает... В нем нет ответов. А раньше они были... *(Задумывается.)*

Зачем люди вспоминают? Но я поговорил с вами, что-то проговорил словами... И что-то понял. Я теперь не так одинок. А как это у других?»

Петр С., психолог

Монолог о том, что можно поговорить и с живыми, и с мертвыми

«Ночью волк во двор вошел... В окно глянула – стоит и светит глазами. Фарами...

Я ко всему привыкла. Семь лет живу одна, семь лет, как люди уехали. Ночью, бывает, сижу, пока не высветлит, и думаю, думаю. И сегодня всю ночь на кровати крючком сидела, а потом вышла поглядеть, какое солнышко. Что я вам скажу? Самая справедливая вещь на свете – смерть. Никто еще не откупился. Земля всех принимает: и добрых, и злых, и грешников. А больше справедливости на этом свете нет. Я тяжело и честно всю жизнь трудилась. По совести жила. А мне справедливость не выпадала. Бог где-то делил, пока до меня очередь дошла – у него уже ничего не осталось, что мне дать. Молодой может умереть, а старый – должен... Никто не бессмертен – ни царь, ни купец... Сначала я людей ждала, думала – все вернутся. Никто на век не уезжал, уезжали на время. А теперь смерти жду. Помереть не трудно, а страшно. Церкви нету, и батюшка не приезжает. Некому мне отнести свои грехи...

Первый раз сказали, что у нас радиация, так мы думали, это болезнь какая-то, кто заболит – сразу умирает. Нет, говорят, что-то такое, что на земле лежит и в землю лезет, а увидеть нельзя. Зверь, может, видит и слышит, а человек нет. А это неправда! Я видела... Этот цезий у меня на огороде валялся, пока дождь его не намочил. Цвет у него такой чернильный... Лежит и переливается кусочками... Прибежала с колхозного поля и пошла на свой огород. И такой кусочек синий... А через двести метров еще один. Величиной с платочек, что у меня на голове. Крикнула я соседке, другим бабам, мы все обегали. Все огороды, поле вокруг... Гектара два... Может, четыре больших кусочка нашли. А один был красного цвета... Назавтра посыпал дождь. С самого утра. И к обеду их не стало. Приехала милиция, а уже не было чего показать. Только рассказывали... Кусочки вот такие... *(Показывает руками.)* Как мой платочек. Синие и красные.

Мы не сильно боялись этой радиации... Когда б мы ее не видели, не знали, может, и боялись, а когда посмотрели, то уже не так страшно. Милиция с солдатами трафаретки поставила. У кого-то возле дома, где-то на улице – написали: семьдесят кюри, шестьдесят кюри... Век жили на своей картошке, на бульбочке, а тут сказали – нельзя! И лучок не разрешают, и морковку. Кому беда, кому смех... Работать на огороде советовали в марлевых

повязках и резиновых перчатках. А золу из печи закапывать. Хоронить. О-о-о... А тогда еще один важный ученый приехал и выступил в клубе, что дрова надо мыть... Диво! Отсохни мои уши! Приказали перестирать пододеяльники, простыни, занавески... Так они ж в хате! В шкафах и сундуках. А какая в хате радиация? За стеклом? За дверями? Диво! Ты найди ее в лесу, в поле... Колодцы позакрывали на замок, обернули целлофановой пленкой. Вода – "грязная"... Какая она грязная, она такая чистая-чистая! Наговорили мешок. Вы все умрете... Надо уезжать... Эвакуироваться...

Напугались люди. Набрались страху. Некоторые давай по ночам свое добро закапывать. И я свою одежду сложила... Красные грамоты за мой честный труд и копейку, какая у меня была, на черный день хранилась. Такая печаль! Такая печаль передала сердце! Чтобы я так умерла, как я правду вам говорю! А тут слышу, что в одной деревне солдаты людей эвакуировали, а дед с бабкой остались. Перед тем днем, как людей подняли, погнали автобусы, они взяли коровку и подались в лес. Переждали там. Как в войну. Когда деревню каратели жгли... Откуда та беда берется? *(Плачет.)* Непрочная наша жизнь. Рада не плакать, так слезы текут.

О! Поглядите в окно: сорока прилетела. Я их не гоню. Хоть, бывает, что сороки у меня яйца из сарая тягают. Все равно не гоню. У нас теперь у всех одна беда. Никого не гоню! Вчера заяц прибежал...

Вот если бы каждый день в хате были люди. Тут недалеко, в другой деревне, тоже баба одна живет, я говорила, чтобы ко мне переходила. Что поможет, а что нет, но хотя бы заговорить до кого. Позвать... Ночью все у меня болит. Ноги крутит, как мурашки бегают, это нерв по мне ходит. Так я возьму что в руки... Жменьку зерна... И хруп, хруп. Нерв тогда успокаивается. Что я уже наработалась за свою жизнь, нагоревалась. Всего хватило, и ничего не хочу. Если б померла, то и отдохнула бы. Как там душа... а телу спокойно будет. И дочки у меня есть, и сыны. Все в городе. А я никуда отсюда не хочу! Дал Бог годы, а не дал доли. Я знаю, что докучает старый человек, дети потерпят, потерпят и обидят. Радость от детей – пока они малые. Наши женщины, которые поехали в город, все плачут. То невестка обижает, то дочка. Вернуться хотят. Мой хозяин тут... Лежит на могилках... Если бы не лежал тут, то жил бы в другом месте. И я с ним. *(Вдруг весело.)* А что ехать? Тут хорошо! Все растет, все цветет. От мошки до зверя – все живет.

Я все вам вспомню... Летят самолеты и летят. Каждый день. Низко-низко над головами. Летят на реактор. На станцию. Один за одним. А у нас – эвакуация. Переселение. Штурмуют хаты. Люди позакрывались, попрятались. Скот ревет, дети плачут. Война! А солнышко светит... Я села и не выхожу из хаты, правда, на ключ не закрывала. Постучали солдаты: "Что, хозяйка, собралась?" Спрашиваю: "Силой будете мне руки и ноги связывать?" Помолчали, помолчали и пошли. Молоденькие-молоденькие. Дети! Бабы на коленях перед хатами ползали. Молились. Солдаты под руки одну, другую – и в машину. А я пригрозила, который до меня дотронется, силу свою покажет, тот кием получит. Ругалась! Крепко ругалась! Не плакала. В тот день я – ни слезинки.

Сижу в хате. То крик. Крик! А то стало тихо... Затихло. Я в тот день... В первый день я не вышла из хаты...

Рассказывали: шла колонна людей... И шла колонна скота. Война!

Мой хозяин любил сказать, что человек стреляет, а Бог пули носит. Кому какая судьба! Молодые, что поуезжали, уже некоторые поумирали. На новом месте. А я с киечком – хожу. Тупаю. Скучно станет, поплачу. Деревня пустая... А птицы тут всякие... Летают... И лось идет хоть бы что... *(Плачет.)*

Я все вспомню... Люди поуждали, а кошек и собак оставили. Первые дни я ходила и разливала всем молоко, а каждой собаке давала кусок хлеба. Они стояли у своих дворов и ждали хозяев. Ждали людей долго. Голодные кошки ели огурцы... Ели помидоры... До осени я у соседки косила траву перед калиткой. Забор упал, забор ей прибила. Ждала людей... Жил у соседки песик, звали Жучок. "Жучок, – прошу, – если первый людей встретишь, – то крикни мне".

Ночью снится, что я эвакуируюсь... Офицер кричит: "Хозяйка, мы скоро все будем сжигать и закапывать. Выходи!" И везут меня куда-то, в какое-то незнакомое место. Непонятное. Это и не город, и не деревня. И не земля...

Случилась история... Был у меня хороший котик. Звали Васька. Зимой голодные крысы напали, нет спасения. Под одеяло лезли. Зерно в бочке – дырку прогрызли. Так Васька спас. Без Васьки бы погибла... Мы с ним поговорим, пообедаем. А тогда пропал Васька... Может, голодные собаки где напали и съели? Они все бегали голодные, пока не поумирали, кошки были такие голодные, что котят ели, летом не ели, а зимой. Прости, Господи! А одну бабу крысы загрызли... В своем доме. Рыжие крысы... Правда или нет, а бают. Рыскают тут бомжи... Первые годы добра хватало: сорочки, кофты, шубы. Бери и вези на барахолку. Вот они напьются, песни поют. Мать-перемать. Один свалился с велосипеда и уснул на улице. Утром две косточки нашли и велосипед. Правда или нет? Не скажу. Бают.

Тут все живет. Ну все-все! Ящерица живет, лягушка квакает. И червяк ползает. И мыши есть! Все есть! Особенно весной хорошо. Я люблю, когда сирень цветет. Черемуха пахнет. Пока ноги крепко держали, сама за хлебом ходила, в одну только сторону пятнадцать километров. Молодая бегом бы проскакала. Привычная. После войны мы ходили за семенами на Украину. За тридцать, за пятьдесят километров. Люди по пуду носили, а я – по три. А теперь по хате, бывает, не перейду. Старой бабе и летом на печи холодно. Милиционеры едут сюда, проверяют деревню, так мне хлеба везут. Только что они тут проверяют? Живу я и котик. Это уже другой котик у меня. Милиция посигналит, мы с ним обрадуемся. Бежим. Ему привезут косточек. А меня будут спрашивать: "А если наскочат бандиты?" – "Так чем они у меня разживутся? Что возьмут? Душу? У меня только душа". Хорошие хлопчики. Смеются. Батарейки к приемнику привезли, я теперь радио слушаю. Людмилу Зыкину люблю, но что-то она редко сейчас поет. Видно, постарела, как и я. Мой хозяин любил сказать... Так еще говорил: кончен бал – и скрипки в торбу!

Расскажу я, как котика себе нашла. Не стало моего Васьки... И день жду, и два... И месяц... Ну совсем, было, я одна осталась. Не к кому и заговорить. Пошла по деревне, по чужим садкам зову: Васька, Мурка... Васька! Мурка! Первое время много их бегало, а потом где-то пропали. Уничтожились. Смерть не разбирает... Всех принимает земля... И хожу я, и хожу. Два дня звала. На третий день – сидит под магазином. Мы переглянулись... Он рад, и я рада. Только что он слово не скажет. "Ну, пошли, – прошу, – пошли домой". Сидит... Мяу... Я давай его упрашивать: "Что ты будешь тут один? Волки съедят. Разорвут. Пошли. У меня яйца есть, сало". Вот как объяснить? Кот человеческого языка не понимает, а как он тогда меня уразумел? Я иду впереди, а он бежит сзади. Мяу... "Отрежу тебе сала". Мяу... "Будем жить вдвоём". Мяу... "Назову тебя Васькой". Мяу... И вот мы с ним уже две зимы перезимовали...

Ночью приснится – кто-то позвал... Голос соседки: "Зина!" Помолчит... И опять: "Зина!"

Скучно мне станет, я поплачу...

Зайду на могилки. Мама там лежит... Дочушка малая... В войну от тифа сгорела. Только мы занесли ее на могилки, закопали, как вышло из-за туч солнышко. И светит-светит. Хоть

ты вернись и откопай. Хозяин мой там... Федя... Посажу возле всех. Повздыхаю. А поговорить можно и с живыми, и с мертвыми. Мне никакой разницы. Я и тех, и других слышу. Когда ты одна... И когда печаль... Сильная печаль...

Возле самых могилочек учитель Иван Прохорович Гавриленко жил, он к сыну в Крым уехал. За ним – Петр Иванович Миусский. Тракторист. Стахановец, когда-то все в стахановцы выбивались. Золотые руки. Из дерева кружева строгал. Дом – на всю деревню дом. Лялька! Ой, меня и жалость брала, кровь поднялась, когда его рушили. Закапывали. Офицер кричал: "Не тужи мать. Дом на „пятне“ стоит". А сам – пьяный. Подхожу – это он плачет: "Ты, мать, иди! Иди!". Прогнал. А там дальше усадьба Миши Михалева, он котлы топил на ферме. Миши не стало быстро. Уехал – и сразу помер. За ним – дом зоотехника Степана Быхова стоял... Сгорел! Ночью злые люди подожгли. Пришлые. И Степан долго не пожил. Под Могилевом, где дети живут, похоронен. Вторая война... Столько мы людей потеряли! Ковалев Василий Макарович, Анна Коцура, Максим Никифорова... Когда-то весело жили. На праздники – песни, танцы. Гармошка. А сейчас – как в тюрьме. Я, бывает, закрою глаза и хожу по деревне... Ну, какая, говорю им, тут радиация, когда и бабочка летает, и шмель жужжит. И мой Васька мышей ловит. *(Плачет.)*

А моя ты любочка, поняла ли ты мою печаль? Понесешь людям, а меня, может, уже и не будет. Найдут в земельке... Под корнями...»

*Зинаида Евдокимовна Коваленка,
самосел*

Монолог о целой жизни, написанный на дверях

«Я хочу засвидетельствовать...

Это было тогда, десять лет назад, и каждый день происходит со мной сейчас. Теперь... Это всегда со мной.

Мы жили в городе Припять. В самом этом городе, который знает сейчас весь мир. Я не писатель. Но я свидетель. Вот как это было... С самого начала...

Ты живешь... Обыкновенный человек. Маленький. Такой, как все вокруг – идешь на работу и приходишь с работы. Получаешь среднюю зарплату. Раз в год едешь в отпуск. У тебя – жена. Дети. Нормальный человек! И в один день ты внезапно превращаешься в чернобыльского человека. В диковинку! Во что-то такое, что всех интересует и никому неизвестно. Ты хочешь быть как все, а уже нельзя. Ты не можешь, тебе уже не вернуться в прежний мир. На тебя смотрят другими глазами. Тебе задают вопросы: там было страшно? Как горела станция? Что ты видел? И вообще, могут ли у тебя быть дети? Жена от тебя не ушла? На первых порах мы все превратились в редкие экспонаты. Само слово "чернобылец" до сих пор – как звуковой сигнал. Все поворачивают голову в твою сторону... Оттуда!

Это были чувства первых дней. Мы потеряли не город, а целую жизнь.

Уехали из дома на третий день... Реактор горел... Запомнилось, что кто-то из знакомых сказал: "Пахнет реактором". Неописуемый запах. Но об этом все читали в газетах. Превратили Чернобыль в фабрику ужасов, а на самом деле, в мультфильм. А его понять надо, потому что нам с ним жить. Я расскажу только свое...

Было так... Объявили по радио: кошек брать нельзя! Дочка – в слезы, от страха потерять свою любимую кошку стала заикаться. Кошку в чемодан! А она в чемодан не хочет, вырывается. Обцарапала всех. Вещи брать нельзя! Я все вещи не возьму, я возьму одну вещь. Только одну! Я должен снять дверь с квартиры и увезти, дверь оставить не могу. А вход забью досками.

Наша дверь... Наш талисман! Семейная реликвия. На этой двери лежал мой отец. Не знаю, по какому обычаю, не везде так, но у нас, сказала мне мама, покойника надо положить на дверь от его дома. Он так лежит, пока не привезут гроб. Я сидел около отца всю ночь, он лежал на этой двери... Дом был открыт. Всю ночь. И на этой же двери до самого верха зазубрины... Как я рос... Отмечено: первый класс, второй. Седьмой. Перед армией... А рядом – как рос уже мой сын... Моя дочь... На этой двери вся наша жизнь записана, как на древних папирусах. Как я ее оставляю?

Попросил соседа, у него была машина: "Помоги!" Показал на голову: мол, ты, друг, не в себе. Но я ее вывез. Дверь. Ночью. На мотоцикле. Лесной дорогой... Вывез через два года, когда наша квартира уже была разграблена. Очищена. За мной гналась милиция: "Будем стрелять! Будем стрелять!" Конечно, они приняли меня за мародера. Дверь из собственного дома я как украд...

Отправил дочку с женой в больницу. У них по телу расплозились черные пятна. То появляются, то исчезнут. Величиной с пятак... А ничего не болит... Их обследовали. Я спросил: "Скажите, какой результат?" – "Не для вас". – "А для кого же?"

Вокруг тогда все говорили: умрем-умрем... К двухтысячному году белорусы исчезнут. Дочке исполнилось шесть лет. Ровно в день аварии. Укладываю ее спать, она мне шепчет на ухо: "Папа, я хочу жить, я еще маленькая". Я думал, она ничего не понимает... А она увидит в детском садике няню в белом халате или в столовой повара – с ней истерика: "Не хочу в больницу! Не хочу умирать!" Белый цвет не переносила. Мы даже в новом доме белые занавески поменяли.

Вы способны себе представить сразу семь лысых девочек? Их в палате было семь... Нет, достаточно! Я кончаю! Когда я рассказываю, у меня чувство... вот сердце подсказывает: ты совершаешь предательство. Потому что я должен описывать её как чужую... Её мучения... Жена пришла из больницы. Не выдержала: "Лучше бы она умерла, чем так мучиться. Или мне умереть, чтобы больше не смотреть". Нет, достаточно! Я кончаю! Не в состоянии. Нет!

Положили её на дверь... На дверь, на которой когда-то лежал мой отец. Пока не привезли маленький гроб... Он был маленький, как коробка из-под большой куклы. Как коробка...

Я хочу засвидетельствовать – моя дочь умерла от Чернобыля. А от нас хотят, чтобы мы молчали. Наукой, мол, еще не доказано, нет банка данных. Надо ждать сотни лет. Но моя человеческая жизнь... Она же меньше... Я не дождусь. Запишите. Хотя бы вы запишите: дочку звали Катя... Катюшенька... Умерла в семь лет...»

Николай Фомич Калугин, отец

**Монолог одной деревни о том, как зовут души
неба, чтобы с ними поплакать и пообедать**

Деревня Белый Берег Наровлянского района Гомельской области.

Говорят: Анна Павловна Артюшенко, Ева Адамовна Артюшенко, Василий Николаевич Артюшенко, Софья Николаевна Мороз, Надежда Борисовна Николаенко, Александр Федорович Николаенко, Михаил Мартынович Лис.

– Гостейки к нам... Добрые люди... Не ворожилось на встречу, никакого знака. Бывает, ладонь чешется – поздоровкаешься. А сегодня никак не ворожилось. Одно соловейка всю ночь пел – на солнечный день. Ой! Наши бабы в момент сбегутся. Вон Надя уже летит...

– И пережили все, перетерпели...

– Ой, не хочу вспоминать. Страшно. Выгоняли нас, солдаты выгоняли. Военная техника понаехала. Самоходки. Один дед старый... Уже лежал. Помирал. Куда ехать? «Я вот встану, – плакал, – и пойду на могилки. Своими ногами». Что нам за хаты заплатили? Что? Поглядите, какая тут красота! Кто нам за эту красоту заплатит? Курортная зона!

– Самолеты, вертолеты – гул стоял. КамАЗы с прицепами... Солдаты. Ну, думаю, началась война. С китайцами или американцами.

– Хозяин пришел с колхозного собрания и говорит: «Завтра нас эвакуируют». А я: «Как же картошка? Не выкопали». Стучит в дверь сосед, и сели они с моим выпивать. Выпили и давай ругать председателя: «Не поедем и точка. Войну пережили, а тут радиация». Хоть залезай в эту землю. Не поедем!

– Сначала думали, что все умрем через два-три месяца. Так нас пугали. Агитировали ехать. Слава Богу – живы!

– Слава Богу! Слава Богу!

– Никто не знает, что на том свете. Тут лучше... Знакомее. Как моя мама приговаривала: красуешься, радуешься и самовольничаешь.

– Пойдем в церковь, помолимся.

– Уезжали... Взяла землю с маминой могилки в мешочек. Постояла на коленках: «Прости, что мы тебя оставляем». Ночью пошла к ней и не боялась. Люди свои фамилии писали на хатах. На бревнах, на заборе. На асфальте.

– Собак солдаты убивали. Стреляли. Бах-бах! После этого я не могу слышать, как кричит живое.

– Я тут бригадирствовал. Сорок пять лет... Жалел людей. В Москву на выставку мы свой лен возили, колхоз посылал. Значок оттуда привез и красную грамоту. Тут ко мне с уважением: «Василий Николаевич... Наш Николаевич...» А кто я там, на новом месте? Старый дед... Тут буду помирать, женщины мне воды принесут, в хате натеплят. Жалел я людей... Вечером идут бабы с поля и поют, а я знаю, что они ничего не получают. Одни палочки на трудовни. А они поют.

– В деревне у нас люди живут вместе. Одним миром.

– Снится мне сон, это я уже в городе у сына жила. Сон... Что жду смерти, поджидаю. И сыновьям наказываю: «Повезете меня на наши могилки, хоть пять минут постоите со мной возле родной хаты». И сверху вижу, как сыны меня туда везут...

– Пусть она отравленная, с радиацией, но это моя родина. Нигде мы больше не нужны. Даже птице своё гнездо мило.

– Доскажу... Жила у сына на седьмом этаже, подойду к окну, гляну вниз и крещусь. Кажется, что коня слышу. Петуха... И такая жаль... А то соснится свой двор: корову привязываю и дою, дою... Просыпаюсь... Не хочу вставать. Я еще там. Я то здесь, то там.

– Днём мы жили на новом месте, а ночью на родине. Во сне.

– Зимой ночи длинные, сидим, бывает, и считаем: кто уже помер? В городе от нервности и расстройства много помирало, по сорок-пятьдесят лет – разве это время смерти? А мы живем. Молимся каждый день Богу, просим одно – здоровье.

– Как говорится, кто где родился, там и сгодился.

– Мой хозяин два месяца лежал... Молчал, не отвечал мне. Как обиделся. Хожу по двору, вернусь: «Батька, как ты?» Глаза только на голос поднимет, а мне уже легче. Пусть бы лежал, молчал, а был в хате. Когда человек умирает, плакать нельзя. Перебьешь ему смерть, будет долго трудиться. Я в шкафу свечку взяла и в руки ему вставила. Он взял и дышит... Глаза, вижу, мутные... Не плакала... Об одном просила: «Передай там привет нашей дочушке и моей любимой мамочке». Молилась, чтобы нам вместе... Некоторые Бога и упросят, а мне он смерти не дал. Живу.

– А я помирать не боюсь. Никто два раза не живет. И лист отлетает, и дерево падает.

– Бабоньки! Не плачьте. В передовиках все годы ходили. Стахановки. Сталина пережили. Войну! Если бы не смеялись и не тешились, то давно б повесились. Значит, разговаривают две черныбыльские женщины. Одна: «Слыхала, у нас у всех теперь белокровие?» Другая: «Ерунда! Я вчера палец порезала, кровь текла красная».

– В родном краю, как в раю. А на чужине и солнце не так светит.

– А моя мама когда-то меня научила: возьми иконку и переверни ее, и чтобы она так три дня повисела. Где б ты не была, обязательно домой возвратишься. У меня было две коровы и две телки, пять свиней, гуси, куры. Собака. Руками голову обхвачу и хожу по саду. А яблоч, яблоч-то сколько! Пропало все, тьфу, пропало!

– Помыла хату, печь побелила... Надо оставить хлеб на столе и соль, миску и три ложечки. Ложек столько, сколько душ в хате. Все, чтоб вернуться...

– А гребешки у кур были черные, а не красные – радиация. И сыр не получался. Месяц жили без творога и сыра. Молоко не кисло, оно в порошок сворачивалось, белый порошок. Радиация...

– Эта радиация у меня на огороде была. Огород весь побелел, беленький-беленький, как чем-то посыпанный. Какими-то кусочками... Я думала, может, что-то из лесу принесло. Ветер насыпал.

– Не хотели мы уезжать. Ой, не хотели! Мужики выпившие... под колеса бросались. Начальство ходило по хатам и каждого уговаривало. Наказ: «Имущество не брать!»

– Скот три дня не поенный. Не кормленный. На убой! Приехал корреспондент из газеты: «Как настроение? Как дела?» Пьяные доярки чуть его не убили.

– Председатель с солдатами кружится вокруг моей хаты. Стращают: «Выходи или будем поджигать! А ну, сюда канистру с бензином!» Забегала – то рушник схвачу, то подушку...

– Вот вы скажите по науке, как действует та радиация? Говорите правду, нам все равно скоро помирать.

– А что вы думаете, в Минске её нет, раз она невидимая?

– Привез внук собачку... Назвали Радий, потому что живем в радиации. И где мой Радий поделся? Всегда возле ног... Боюсь, побежит за деревню, волки съедят. Буду одна.

– А в войну целую ночь орудия стучают-стучают. Секут-секут. Мы земляночку в лесу выдолбили. Бомбят и бомбят. Все сожгли, сказать бы хаты, а то и огород, и вишенки погорели.

Только б не было войны... Как я её боюсь!

– У армянского радио спрашивают: «Можно ли есть чернобыльские яблоки?» Ответ: «Можно, только огрызки надо глубоко в землю закапывать». Второй вопрос: «Сколько будет семь помножить на семь?» Ответ: «Да тебе любой чернобылец на пальцах сосчитает». Ха-ха-ха...

– Дали нам новый домик. Каменный. Так знаете, за семь лет не забили ни одного гвоздя. Чужбина! Все чужое. Мой хозяин плакал и плакал. Неделю работает в колхозе на тракторе, ждет воскресенья, а в воскресенье ляжет у стенки и плачет.

– Больше нас никто не обманет, никуда мы со своего места не двинемся. Магазины нет, больницы нет. Света нет. Сидим при керосиновой лампе и при лучине. А нам хорошо! Мы – дома.

– В городе невестка ходила за мной по квартире с тряпкой и вытирала дверную ручку, стул... А все за мои деньги куплено, вся мебель и машина «Жигули». Деньги кончились, и мама не нужна.

– Деньги наши дети забрали. А что осталось, инфляция съела. То, что нам отдали за хозяйство, за хаты. За яблоньки.

– У армянского радио спрашивают: «Что такое радионяня?» – Это – бабушка из Чернобыля». Ха-ха-ха...

– Две недели я шла пешком... И коровку свою вела... Люди не пускали в хаты. В лесу ночевала.

– Боятся нас. Заразные, говорят. За что Бог наказал? Рассердился? Живем не по-людски, не по божьим законам. Казним один одного. За это.

– Мои внуки летом приезжали... Первые годы не ехали, тоже боялись. А теперь навещают, продукты уже берут, все пакуют, что дашь. «Бабушка, – спрашивали, – а читала ты книгу о Робинзоне?» Жил один – так, как и мы. Без людей. Я с собой полмешка спичек привезла. Топор и лопату. А теперь у меня сало, яйца, молоко, – все свое. Одно что – сахар не посеешь. Земли тут сколько хочешь! Хоть сто гектаров запахивай. А власти никакой. Тут человеку никто не мешает. Начальства нет. Мы – свободные.

– С нами и коты вернулись. И собаки. Возвращались вместе. Солдаты нас не пускали. Омоновцы. Так мы ночью... Лесными тропками. Партизанскими.

– Ничего от государства нам не надо. Все сами производим. Не трогайте только нас! Ни магазина не надо, ни автобуса. За хлебом и солью ходим пешком за двадцать километров. Мы – сами себе.

– Табором вернулись. Три семьи... А здесь все разграблено: печь разбили, окна, двери сняли. Полы. Лампочки, выключатели, розетки, – все выкрутили. Ничего живого. Вот этими руками все заново, вот этими руками. А как же!

– Дикая гуси кричат – весна наступила. Сеять пора. А мы в пустых хатах... Одно – крыши целые...

– Милиция кричала. Приедут на машинах, а мы – в лес. Как от немцев. Один раз напали на нас с прокурором, так он грозился, что будут судить. Я говорю: «Пускай мне дадут год тюрьмы, я отбуду и сюда вернусь». Их дело покричать, а наше – помолчать. Я орден имею – как передовой комбайнер, а он мне грозит: по десятой статье пойдешь... Как будто я преступник.

– Каждый день мне моя хата снилась. Я возвращалась: то копаю огород, то постель прибираю... И всегда что-нибудь найду: то туфлю, то цыплят... К добру всё, к радости. На возвращение.

– Ночью Бога просим, а днем милиционеров. Спросите вы у меня: «Что ты плачешь?» А я не знаю, чего я плачу. Я рада, что я в своем дворе живу.

– И пережили все, перетерпели...

– Я вам анекдот расскажу... Указ правительства о льготах чернобыльцам... Тому, кто проживает в двадцати километрах от станции, к фамилии добавляется приставка «фон». Те, кто в десяти километрах, они уже – Ваша светлость. А те, кто возле станции выжили – Ваше сиятельство. Ну, вот и живем, Ваша светлость... Ха-ха...

– Добилась я к доктору: «Миленький, ножки не ходят. Суставчики болят». – «Коровку надо сдать, бабка. Молоко отравленное». – «Ой, нет, – плачу, – ножки болят, коленки болят, а коровку не отдам. Моя кормилица».

– У меня семеро детей. Все в городах живут. Я тут одна. Затоскую, сяду под их фотографии. Поговорю. Всюду одна. Дом одна покрасила, шесть банок краски уложила. Так вот и живу. Вырастила четыре сына и три дочки. А муж рано умер. Одна.

– Я с волком встречался вот так: он стоит, и я стою. Посмотрели один на одного, и он в сторону отскочил. Помчался. Так у меня шапка поднялась от страха.

– Любой зверь боится человека. Ты зверя не трогай, и он тебя обойдет. Раньше ходишь по лесу, услышишь голоса, бежишь к людям, а сейчас человек от человека прячется. Не дай Бог встретить в лесу человека!

– Все, что в Библии написано, все исполняется. Там и про наш колхоз написано... И про Горбачева... Что будет большой начальник с клеймом на лбу и великая держава рассыпется. А потом наступит Божий суд. Кто в городах живет, все погибнут, а в деревне один человек останется. Человек будет рад человеческому следу! Не человеку, а только следу его...

– А свет у нас – лампа. Керосинка. А-а... Бабы уже доложили вам. Убьем кабана, так в погреб несем или в землю закапываем. В земле мясо три дня лежит. Самогонка у нас из своего жита. Из варенья.

– У меня два мешка соли. Не пропадем без государства! Дров полно – кругом лес. Хата теплая. Лампа горит. Хорошо! Козу держу, козлика, трое свиной, четырнадцать кур. Земли – вдосталь, травы – вдосталь. Вода есть в колодце. Воля! Нам хорошо! У нас тут не колхоз, а коммуна. Коммунизм! Еще одного коника купим. И тогда никто нам больше не нужен. Одного коника...

– Мы не домой вернулись, как один корреспондент тут был и удивлялся, а на сто лет назад. Серпом жнем, косой косим. Молотим цепями зерно прямо на асфальте. Хозяин корзинки плетет. А я зимой вышиваю. Тку.

– В войну в нашем роду погибло семнадцать человек. Двоих моих братьев убили. Мама плачет и плачет. А ходила старушка по деревням, побиралась. «Скорбишь?» – говорит маме. – Не скорби. Кто отдал жизнь за других, тот святой человек». И я все за Родину могу...

Только убивать не могу... Я – учительница, я учила: любите человека. Всегда побеждает добро. Дети, они маленькие, душой чистые.

– Чернобыль... Над войнами война. Нет человеку нигде спасения. Ни на земле, ни в воде, ни на небе.

– Радио сразу отключили. Никаких новостей не знаем, зато нам спокойно жить. Не расстраиваемся. Приезжают люди, пересказывают: везде война. И будто социализм кончился, живем при капитализме. Царь вернется. Правда!?

– То кабан из лесу в сад зайдет, то лосиха... Люди редко. Одни милиционеры...

– А вы и в мою хату зайдите.

– И в мою. Так давно у меня в хате гости не сидели.

– И крещусь, и молюсь... Господи! Два раза милиция мне печку рубила. На тракторе меня вывозили. А я – назад! Пустили бы людей – они все на коленках домой бы поползли. Разнесли по свету наше горе. Только мертвым разрешают вернуться. Их привозят. А живые – ночью. Лесом...

– На радуницу все сюда рвутся. До одного. Каждый хочет своего помянуть. Милиция по спискам пропускает, а детям до восемнадцати лет нельзя. Приедут и так рады возле своей хаты постоять... В своем саду возле яблони... Сначала на могилках плачут, потом расходятся по своим дворам. И там тоже плачут и молятся. Ставят свечки. Висят на своих заборах, как на оградах у могил. Бывает, что и веночек положат возле дома. Повесят белый рушник на калитке... Батюшка молитву читает: «Братья и сестры! Будьте терпеливыми!»

– На кладбище берут и яйца, и булки... Многие блины вместо хлеба. У кого что есть... Каждый садится возле своей родни. Зовут: «Сестра, пришла тебя отведать. Иди к нам обедать». Или: «Мамочка ты наша... Папочка ты наш... Татуля...» Зовут души с неба... У кого в этот год умерли, те плачут, а у кого раньше, те не плачут. Поговорят, вспомнят. Все молятся. Кто не умеет, тоже молится.

– А ночью по мертвым плакать нельзя. Солнце зайдет – и уже нельзя. Помяни, Боже, души их. И царство им небесное!

– Кто не скачет, тот плачет... Вот хохлушка продает на базаре большие красные яблоки. Зазывает: «Покупайте яблочки! Яблочки чернобыльские!» Кто-то ей советует: «Не признавайся, тетка, что они чернобыльские. Никто не купит». – «Не скажите! Берут! Кому надо для тещи, кому для начальника!»

– Тут один из тюрьмы вернулся. По амнистии. В соседней деревне жил. Мать умерла, дом закопали. Прибился к нам. «Тетка, дайте кусок хлеба и сала. Я вам дров наколю». Побирается.

– Бардак в стране – и сюда бегут люди. От людей бегут. От закона. И живут одни. Чужие люди... Суровые, нет приветствия в глазах. Напьются – подожгут. Ночью спим, а под кроватью – вилы, топоры. На кухне у дверей – молоток.

– Весной бешеная лиса бегала, когда она бешеная, то ласковая-ласковая. Не может смотреть на воду. Поставь во дворе ведро воды – и не бойся! Уйдет.

– Приезжают... Фильмы про нас снимают, а мы их никогда не увидим. У нас нет ни телевизоров, ни электричества. Одно – в окно смотреть. Ну и молиться, конечно. То были коммунисты вместо Бога, а теперь остался один Бог.

– Мы – люди заслуженные. Я – партизан, год был в партизанах. А когда наши немцев отбили, на фронт попал. На рейхстаге свою фамилию написал: Артюшенко. Снял шинельку, коммунизм строил. А где тот коммунизм?

– У нас тут коммунизм. Живем – братья и сестры.

– Когда война началась, не было в тот год ни грибов, ни ягод. Поверите? Сама земля беду чуяла... Сорок первый год... Ой, вспоминаю! Я войну не забыла. Пролетел слух, что пригнали наших пленных, кто признает своего, может забрать. Поднялись, побежали наши бабы! Вечером кто своего, а кто чужого привел. Но нашелся такой гад... Жил как все, женатый, двое детей. Заявил в комендатуру, что мы украинцев взяли. Васько, Сашко... Назавтра немцы на мотоциклах приезжают... Просим, на колени падаем... А они вывели их за деревню и положили из автоматов. Девять человек. Они ж молодые-молодые, хорошие! Васько, Сашко...

Только б не было войны. Как я ее боюсь!

– Начальство приедет, покричит-покричит, а мы глухие и немые. И пережили все, перетерпели...

– А я про свое... Про своё думаю и думаю... На могилках... Кто причитает громко, а кто тихо. Другие, бывает, прискажут: «Распахнись, желтый песочек. Распахнись, темная ночка». Из лесу дождешься, а из песка никогда. Буду обращаться ласково: «Иван... Иван, как мне жить?» А он ничего не ответит мне, ни хорошего, ни плохого.

– А я... Я никого не боюсь: ни покойников, ни зверей, никого. Сын приедет из города и ругается: «Что сидишь одна? А как кто задушит?» А что он возьмет у меня? Одни подушки... В простой хате все уборы – подушки. Как станет бандит лезть, он же голову всунет в окно, а я ее топориком прочь. По-нашему, секеркой... Может, и нет Бога, может, другой кто, но там, высоко, кто-то есть... И я живу.

– Зимой дед повесил во дворе разделанного теленка. И иностранцев как раз привезли: «Дедушка, что ты делаешь?» – «Радиацию выгоняю».

– Было же... Люди рассказывали... Похоронил муж жену, а хлопчик маленький у него остался. Мужчина один... Запил с горя... Снимет с дитенка все мокрое и под подушку. А жена – то ли она сама, то ли только душа ее – явится ночью, помоеет, посушит и сложит в одном месте. Раз он ее увидел... Позвал – она сразу как растаяла. Воздухом стала. Тогда соседи ему посоветовали: как тень мелькнет – двери на ключ, то, может, скоро не убежит. А она и совсем не пришла. Что там такое было? Кто там такой приходил?

Не верите? А тогда отвечайте, откуда сказки взялись? Это же, может, когда-то правда была? Вот вы грамотные...

– Отчего тот Чернобыль сорвался? Одни бают – ученые виновны. Хватают Бога за бороду, а он смеется. А нам тут терпи!

Хорошо мы никогда не жили. Спокойно. Перед самой войной людей забирали. Хватали... У нас троих мужчин... Приехали на черных машинах и с поля забрали, и до сих пор они не вернулись. Всегда мы боялись.

– Я плакать не люблю... Я люблю анекдот новый послушать... В чернобыльской зоне вырастили табак. На фабрике из этого табака изготовили сигареты. На каждой пачке написано: «Минздрав в по-о-следний раз предупреждает – курение опасно для здоровья». Ха-ха-ха ... А наши деды курят...

– Одно, что у меня есть – коровка. Я пошла б и отдала, только б не было войны. Как я ее боюсь!

– И кукушка кукует, сороки трещат. Косули бегают. А будут ли они дальше вестись, никто не скажет. Утром глянула в сад – кабаны порыли. Дики. Людей можно переселить, а лося и кабана нет. И вода границ не придерживается, идет себе по земле, под землей...

Дом не может без человека. И зверю человек нужен. Все ищут человека. Аист прилетел. Жучок вылез. Всему рада.

– Болит, бабоньки... Ой, как мне болит! Надо тихо... Гроб несут тихо... Осторожно. Не стукнуть о дверь или кровать, ни до чего не дотронуться и не ударить. А то беда – жди второго покойника. Помяни, Боже, душечку их. И царство им небесное! А где хоронят, там и причитают. Тут у нас всё – могилки. Кругом могилки... Самосвалы гудят. Бульдозеры. Хаты падают... Похоронщики работают и работают... Закопали школу, сельсовет, баню... Этот самый свет, да люди уже не те. Одно не знаю, если ли у человека душа? Какая она? И где они все на том свете вмещаются?

Два дня дед помирал, за печкой притаюсь и сторожу: как она из него вылетать будет? Пошла корову доить... Вскочила в хату. Зову. Лежит с открытыми глазами... Душа улетела... Или ничего не было? Как же тогда свидимся?

– Говорит батюшка, что мы – бессмертные. Молимся. Господи, дай нам силы перенести утомления нашей жизни...

**Монолог о том, что найдется
дождевой червяк и курица радуется.
А то, что в чугулке кипит, тоже не вечное.**

«Первый страх...

Первый страх с неба упал. Водой плыл. А некоторые люди, и много кто, были спокойные, как камни. Крестом побожусь! Мужчины, которые постарше, выпьют: "Мы до Берлина дошли и победили". Скажут, как приклеют к стене. Победители! С медалями.

Первый страх был... Утром в саду и на огороде мы находили удушенных кротов. Кто их душил? Обычно они на свет не вылазят из-под земли. Что-то их гнало. Крестом побожусь!

Сын звонит из Гомеля:

– А майские жуки летают?

– Жуков нет, даже личинок нигде не видно. Попрятались.

– А дождевые черви есть?

– Найдется дождевой червяк – курица радуется. И их нет.

– Первая примета: где майских жуков и червяков нет – там сильная радиация.

– Что такое радиация?

– Мама, это смерть такая. Уговаривайте тату уезжать. У нас перебудете.

– Так мы ж огород не посадили...

Были бы все умные, так кто бы остался в дураках? Горит, ну горит. Пожар – временное явление, никто по тем временам не боялся. Атома не знали. Крестом побожусь! А жили под боком у атомной станции, напрямую – тридцать километров, а если по шоссе – сорок.

Довольны были очень. Купил билет и поехал. Снабжение у них московское – колбаса дешевая, всегда мясо в магазинах. На выбор. Хорошее было время!

А теперь один страх... Мелют, что лягушки и мошки останутся, а люди нет. Жизнь останется без людей. Мелют сказку с присказкой. Дурак, кто их любит! Но не бывает байки без правды... Старая это уже песня...

Радио включу. Пугают и пугают нас радиацией. А нам при радиации стало лучше жить. Крестом побожусь! Ты погляди: завезли апельсины, три сорта колбасы, пожалуйста! В деревне! Мои внуки полсвета объехали. Меньшая девочка вернулась из Франции, это же когда-то Наполеон оттуда наступал... "Бабушка, я видела ананас!" Второго внука... Братика ее в Берлин на лечение брали... Это туда, откуда на нас Гитлер пёр... На танках... Новый свет теперь... Все по-другому... Радиация эта виновата или кто? А какая она? Может, в кино где показывали? Вы видели? Белая, или какая она? Какого цвета? Одни говорят, что без цвета и запаха, а другие – что она черная. Как земля! А если без цвета, то как Бог. Бог всюду, а никто не видит. Пугают! А яблоки в саду висят, и лист на деревьях, картошка в поле... Я думаю, что никакого Чернобыля нет, придумали. Обманули людей. Сестра моя со своим мужиком уехали. Недалеко тут, за двадцать километров. Два месяца там пожили, бежит к ним соседка: "От вашей коровы радиация перелезла к моей. Корова падает". – "А как она перелезет?" – "Она по воздуху летает, как пыль. Летучая". Сказки! Сказки с присказкой... А это быль... У деда моего пчелы, стояло пять ульев. Так они три дня не вылетали, ни одна. Сидели в ульях. Пережидали. Дед по двору носится: что за напасть такая? Что за холера? Что-то в природе случилось. А их система, как потом объяснил нам сосед-учитель, лучше нашей, разумнее, так как они сразу слышали. Радио, газеты еще молчали, а пчелы уже знали. На четвертый день только вылетели. Осы... Были у нас осы, осиное гнездо над крыльцом, никто не трогал, и тут их утром не стало, ни живых, ни мертвых. Вернулись через шесть лет. Радиация... Она и людей пугает, и зверей... И птиц... И даже дереву страшно, только что оно немое. Не скажет. А колорадские жуки ползают, как и ползали, едят нашу бужбучку, сжирают до листочка, они привычные к отраве. Вот как и мы.

Но как подумаю – в каждой хате кто-то помер... Другая улица, на том берегу реки... Там все женщины теперь без мужиков, нет мужчин, мужчины поумирали. На нашей улице мой дед живет, и там еще один. Мужчин Бог забирает раньше. По какой причине? Никто нам не переведет, никто не знает этого секрета. А подумать: останься одни мужчины, без баб – тоже не ладно. Пьют, милая моя, пьют. От тоски пьют. Кому умирать охота? Когда человек умирает – такая тоска! Утешиться нельзя. Никто не может, и нечем его утешить. Пьют и беседуют... Рассуждают... Выпить, смеяться и бац! – нет. Все мечтают о легкой смерти. Как же ее заслужить? Душа – единственное живое существо. Моя ты милая... А женщины наши все пустые, женское у них вырезано, считай, у каждой третьей. И у молодой, и у старой... Не все успели родить... Как подумаю... Прошло, как не было...

А что я добавлю? Надо жить. Больше ничего...

А то еще... Раньше мы сами били масло, сметану, ставили творог, сыр. Варили молочную затирку. Едят ли такое в городе? Заливаешь муку водой и мешаешь, получают рваные кусочки теста, тогда ты их в кастрюлю с кипящей водой. Поваришь и забеливаешь молоком. Наша мама показывала и учила: "И вы, дети, научитесь так. А я научилась от своей мамы". Пили мы березовый и кленовый сок – березовик и кленовик. Фасоль в стручках парили в чугунах в большой печи. Варили кисель из клюквы... А в войну крапиву собирали, лебеду и другие травы. С голоду пухли, но не помирали. Ягоды в лесу, грибы... А сейчас такая жизнь, что все это порушилось. Думалось нам, что это нерушимое, всегда было и будет так. И то, что в чугунке кипит, вечное. Никогда бы я не поверила, что оно поменяется. Но оно ж так... Молоко – нельзя, бобовые – нельзя. Грибы, ягоды запрещают. Мясо наказывают

вымачивать три часа. И с картошки два раза воду сливать, когда варишь. Но с Богом биться не будешь... Надо жить...

Пугают, что и воду нашу нельзя пить. Но как ты без воды? В каждом человеке вода есть. Никого нет без воды. Воду и в камне найдешь. Ну, это ж вода, может, она вечная? Вся жизнь из нее... У кого спросишь? Никто не скажет. А Богу молятся, у него не спрашивают. То надо жить...

Вон и жито взошло. Хорошее жито».

Анна Петровна Бадаева, самосел

Монолог о песне без слов

«Я вам в ножки поклонюсь... Попрошу...

Найдите нам Анну Сушко. Она жила в нашей деревне. В деревне Кожушки. Зовут – Анна Сушко... Я вам назову все приметы, а вы напечатайте. У нее горб, с детства немая. Жила одна. Шестьдесят лет... Во время переселения ее забрали на машине "Скорой помощи" и вывезли в неизвестном направлении. Грамоте она не училась, поэтому никакого письма мы от нее не получили. Одиноких и больных увозили в приюты. Прятали. Никто не знает адреса. Напечатайте...

Жалели мы ее всей деревней. Выхаживали, как малое дитя. Кто дров наколет, кто молока принесет. Кто посидит вечером в хате... Печь растопит... Два года, как мы, помыкавшись по чужим углам, вернулись в родные хаты. И ей передайте, что хата ее целая. Крыша есть, окна. Что побито и разграблено, вместе восстановим. Дайте нам только адрес, где она живет и страдает, поедем и заберем. Привезем назад. Чтобы она не умерла от тоски. Я вам в ножки поклонюсь. Невинная душа мучается в чужом свете...

Есть еще одна примета... Я забыла... Когда у неё что-нибудь болит, она тянет песню. Без слов. Один голос. А разговаривать она не может... Когда болит, тянет голосом: а-а-а... Жалится...

А...а...а...»

Мария Волчок, соседка

Три монолога о древнем страхе и о том, почему один мужчина молчал, когда говорили женщины

Семья К-вых. Мать и дочь. И не сказавший ни слова мужчина (муж дочери.)

Дочь:

– Я первое время день и ночь плакала. Хотелось плакать и говорить... Мы из Таджикистана, из Душанбе. Там – война...

Мне про это нельзя... Я ребеночка жду, я – беременная. Но я вам расскажу... Заходят днем в автобус с проверкой паспортов. Обычные люди, только с автоматами. Посмотрят документы и выталкивают из автобуса мужчин. И тут же, возле дверей... стреляют. Даже не отводят в сторону. Я никогда бы сама не поверила. А я это видела. Видела, как вывели двух мужчин, один совсем молодой, красивый, он им что-то кричал. По-таджикски, по-русски... Кричал, что у него жена недавно родила, что трое маленьких детей дома. А они только смеялись, тоже молодые, совсем молодые. Обычные люди, только с автоматами. Он упал... Он им кроссовки целовал... Все молчали, весь автобус. Только отъехали: та-та-та... Боялась оглянуться... *(Плачет.)*

Мне про это нельзя... Я ребеночка жду. Но я вам расскажу... Об одном прошу: не называйте мою фамилию, а имя – Светлана. У нас там родственники остались. Их убьют... Я раньше думала, что у нас никогда уже войны не будет. Большая страна, любимая. Самая сильная! Раньше нам говорили, в советской стране, что мы бедно живем, скромно, потому что прошла большая война, народ пострадал, зато теперь у нас могучая армия, нас никто не тронет. Не победит! А мы стали стрелять друг в друга... Сейчас не такая война, как раньше. Ту войну наш дед вспоминал, он до Германии дошел. До Берлина. Сейчас сосед стреляет в соседа, мальчики вместе в школе учились, и они убивают друг друга, насилюют девочек, с которыми в школе рядом сидели. Все сошли с ума...

Наши мужья молчат. Мужчины молчат, они вам ничего не скажут. Им кричали вслед, что они, как женщины – бегут. Труссы! Родину предают. А где их вина? Разве это вина, что не можешь стрелять? Не хочешь. У меня муж – таджик, ему надо было идти на войну и убивать. А он: «Уедем-уедем. Я не хочу на войну. Мне не нужен автомат». Он любит плотничать, ухаживать за лошадьми. Он не хочет стрелять. У него душа такая... Охоту тоже не любит. Там его земля, говорят на его языке, а он уехал. Потому что не хочет убивать другого таджика, такого, как и он сам. Незнакомого ему человека, человека, который его ничем не обидел... Там он даже телевизор не слушал. Закрывал уши... Но ему здесь одиноко, там родные братья воюют, одного уже убили. Там его мать живет. Сестры. Ехали мы сюда в душанбинском поезде, стекол нет, холодина, не топят, стрелять не стреляли, но по дороге в окна камни кидали, стекла били: «Русские, убирайтесь! Оккупанты! Хватит нас грабить!» А он же таджик, и он это все слышал. И дети наши слышали. Девочка у нас училась в первом классе, она была влюблена в мальчика. Таджика. Приходит из школы: «Мама, а кто я – таджичка или русская?» Ей не объяснить...

Мне про это нельзя... Но я вам расскажу... У них памирские таджики воюют с кулябскими таджиками. Они – все таджики, у них один Коран, одна вера, но кулябцы убивают памирцев, а памирцы убивают кулябцев. Сначала они на площади собирались, кричали, молились. Я хотела понять, я тоже туда пошла. Спросила у стариков: «Против кого вы выступаете?» Они ответили: «Против парламента. Нам сказали, что это очень плохой человек – Парламент». Потом площадь опустела, и стали стрелять. Как-то сразу стала другая страна, незнакомая. Восток! А до этого нам казалось, что живем на своей земле. По советским законам. Там столько русских могил осталось, а на них некому плакать... Скот пасут на русских кладбищах... Коз... Русские старики по помойкам бродят, подбирают...

Работала я в роддоме, медсестрой. Ночное дежурство. Женщина рождает, тяжело рождает, кричит... Вбегает санитарка... В нестерильных перчатках, в нестерильном халате... Что случилось? Что! Чтобы в таком виде в родильный зал?! «Девочки, бандиты!» А они в черных масках, с оружием. И сразу к нам: «Дай наркотики! Дай спирт!» – «Нет наркотиков, нет спирта!» Врача к стенке – давай! И тут женщина, которая рожала, с облегчением закричала. Радостно. И ребеночек заплакал, он только-только появился... Я над ним наклонилась, я даже не запомнила, кто это был: мальчик или девочка? У него еще ни имени, ничего. И эти бандиты к нам: кто она – кулябка или памирка? Не мальчик или девочка, а кулябка или

памирка? Мы – молчим... А эти орут: «Кто она!?» Мы – молчим. Тогда они хватают этого ребеночка, он, может быть, минут пять-десять всего и побыл на этом свете, и выбрасывают в окно... Я медсестра, я не раз видела, как умирают дети. А тут... Чуть сердце не вылетело из груди... Мне это нельзя вспоминать... *(Опять начинает плакать.)* После этого случая... У меня экзема на руках высыпала. Вены вздулись. И такое равнодушие ко всему, не хотелось вставать с постели. Подойду к больнице и назад поворачиваю. А я уже сама ребеночка ждала... Как жить? Как там рожать? Приехали сюда... В Беларусь... Наровля – тихий городок, маленький. И больше не спрашивайте... Не трогайте меня... *(Замолкает.)* Подождите... Хочу, чтобы вы знали... Я Бога не боюсь. Я человека боюсь... Первое время мы здесь спрашивали: «Где у вас радиация?» – «Где стоите, там радиация». Так это же вся земля?! *(Вытирает слезы.)* Люди уехали. Им страшно.

А мне тут не так страшно, как там. Мы остались без родины, мы – ничьи. Немцы все уехали в Германию, татары, когда им разрешили, – в Крым, а русские никому не нужны. На что надеяться? Чего ждать? Россия никогда не спасала своих людей, потому что большая, бесконечная. Честно говоря, я и не чувствую, что моя родина – Россия, мы воспитывались по-другому: наша Родина – Советский Союз. Вот и не знаешь теперь, как душу спасти? Никто не щелкает здесь затвором – уже хорошо. Нам тут дом дали, мужу – работу. Написала письмо своим знакомым, они вчера тоже приехали. Насовсем. Приехали вечером и боялись выйти из здания вокзала, детей не пускали, сидели на своих чемоданах. Ждали утра. А потом видят: люди ходят по улицам, смеются, курят... Им показали нашу улицу, проводили до самого нашего дома. Они не могли прийти в себя, потому что мы там отвыкли от нормальной жизни, от мирной. К тому, что вечером можно ходить по улицам. Можно смеяться... А утром они сходили в гастроном, увидели масло, сливки, и там же, в магазине – это все они сами нам рассказывали – купили пять бутылок сливок и тут же их выпили. На них смотрели как на сумасшедших. А они ни сливок, ни масла два года не видели. Там хлеба не купишь. Там – война... Это нельзя объяснить человеку, который войны не знает... Только из кино...

У меня там душа была мертвая... Кого бы я там родила с мертвой душой? Здесь людей мало... Дома пустые... Живем под лесом... Я боюсь, когда много людей. Как на вокзале... Во время войны... *(Заплакала навзрыд и замолчала.)*

Мать:

– Только о войне... Только о войне могу говорить... Почему сюда приехали? На чернобыльскую землю? Потому что отсюда нас уже не выгонят. С этой земли. Она уже ничейная, Бог ее забрал. Люди ее оставили.

В Душанбе работала я заместителем начальника вокзала, и был еще один заместитель, таджик. Наши дети вместе росли, учились, мы сидели за одним праздничным столом: Новый год, Первомай... День Победы... Вместе пили вино, плов ели. Он ко мне обращался: «Сестра. Сестренка. Моя русская сестра». И вот он приходит, а мы сидели в одном кабинете, останавливается перед моим столом и кричит:

– Когда ты, наконец, в свою Россию укажишь? Это – наша земля!

В ту минуту я думала, что мой разум не выдержит. Подскочила к нему:

– Куртка на тебе откуда?

– Ленинградская, – ответил от неожиданности.

– Снимай русскую куртку, гад! – сдираю с него куртку. – Откуда шапка? Хвалился, что из Сибири прислали! Снимай шапку, гад! Рубашку давай! Штаны! Их на московской фабрике шили! Они тоже русские!

До трусов бы раздела. Здоровенный мужчина, я ему по плечо, а тут – откуда сила взялась – все бы с него содрала. Вокруг уже люди собрались. Он вопит:

– Иди от меня, бешенная!

– Нет, отдавай все мое, русское! Я все свое заберу! – Я чуть разума не лишилась. – Носки снимай! Туфли!!

Работали мы днем и ночью... Составы идут переполненные – бегут люди... Много русских людей тронулось с места...Тысячи! Десятки тысяч! Сотни! Еще одна Россия. Отправила я в два часа ночи московский поезд, остались в зале дети из города Кургана-Тюбе, не успели на московский. Я их закрыла, спрятала. Подходят ко мне двое. С автоматами.

– Ой, ребята, что вы тут делаете? – А у самой сердце задрожало.

– Сама виновата, у тебя все двери нараспашку.

– Я поезд отправляла. Не успела закрыть.

– Что там за дети?

– Это наши, душанбинские.

– А может, они из Кургана? Кулябские?

– Нет-нет. Наши.

Ушли. А если бы открыли зал? Они бы всех... И мне заодно – пулю в лоб! Там одна власть – человек с ружьем. Посадила я детей утром на Астрахань, приказала, чтобы их везли как арбузы, двери не открывали. *(Сначала молчит. Потом долго плачет.)* Разве есть что-нибудь страшнее человека? *(Опять замолкает.)*

Уже, когда здесь шла по улице, через минуту оглядывалась, мне казалось, что кто-то за спиной наготове... Ждет. Дня там не проходило, чтобы я о смерти не думала... Всегда из дому во всем чистом выходила – в свежестырированной блузке, юбке, в чистом белье. А вдруг убьют! Сейчас по лесу хожу одна и никого не боюсь. Людей в лесу нет, ни одного человека. Иду, вспоминаю: то ли было все это со мной, то ли нет? Другой раз охотников встретишь: с ружьем, собакой и дозиметром. Это тоже люди с ружьем, но не такие, они за человеком не гоняются. Стрельбу услышу – знаю, что по воронам стреляют или зайца гонят. *(Молчит.)* Поэтому мне здесь не страшно... Я не могу бояться земли, воды... Я человека боюсь... Там он за сто долларов на базаре покупает автомат...

Я вспоминаю парня. Таджики... Он гнался за другим парнем... За человеком гнался! Как он бежал, как дышал, я сразу поняла, что он хочет убить... Но тот спрятался... Убежал... И вот этот возвращается, идет мимо меня и говорит: «Мать, где у вас тут можно воды попить?» Обычно так спрашивает, как ни в чем не бывало. У нас на вокзале бачок с водой стоял, я ему показала. И вот смотрю ему в глаза и говорю-говорю: «Зачем вы друг за другом гоняетесь? Зачем убиваете?» И ему будто даже стыдно стало. «Ну, мать, ты давай тише». А когда они вместе, они другие. Будь они вдвоём или втроём, поставили бы меня к стенке. С одним человеком еще можно говорить...

Из Душанбе приехали в Ташкент, а дальше надо – в Минск. Нет билетов – и все! У них хитро устроено, пока взятку не дашь, в самолет не сядешь, бесконечные придирки – то к весу, то к объему: это нельзя, то убери. Два раза на весы гоняли, еле сообразила. Деньги всунула... «Вот так бы давно, а то спорит тут». Как все просто! А до этого... Контейнер у нас – две тонны, заставили разгрузить. «Вы едете с горячей точки, может, оружие везете? Анашу?» Я пошла к начальнику и у него в приемной познакомилась с хорошей женщиной, она меня первая вразумила: «Ничего вы тут не добьетесь, а будете требовать

справедливости, ваш контейнер выбросят в поле и разграбят то, что вы привезли». Ну что делать? Ночь не спали, разгрузились, что у нас там: шмотки, матрацы, старая мебель и старый холодильник, два мешка книг. «Вы, наверное, ценные книги везете?» Посмотрели – «Что делать?» Чернышевского, «Поднятая целина» Шолохова... Посмеялись. «А сколько у вас холодильников?» – «Один, да и тот нам разбили». – «Почему не взяли декларации?» – «Ну откуда нам было знать? Первый раз с войны едем». Мы потеряли сразу две родины – свой Таджикистан и Советский Союз...

Хожу по лесу, думаю. Наши все у телевизора сидят: как там? Что там? А я не хочу.

Была жизнь... Другая жизнь... Я там считалась большим человеком, есть у меня воинское звание – подполковник железнодорожных войск. Тут сидела безработная, пока не устроилась уборщицей в горсовете. Полы мою... Прошла жизнь... А на вторую у меня уже нет сил... Одни нас тут жалеют, другие недовольны: «Беженцы картошку воруют. По ночам выкапывают». В ту войну, моя мама вспоминала, люди больше друг дружку жалели. Недавно под лесом коня одичавшего нашли. Мертвого. В другом месте – зайца. Они были не убитые, а мертвые. Об этом все забеспокоились. А нашли мертвого бомжа, как-то незаметно прошло.

К мертвому человеку люди везде привыкли...

Лена М. – из Киргизии. На пороге дома, как для фотографии, рядом с ней сидели ее пятеро детей и кот Метелица, которого они с собой привезли.

«Мы ехали – как с войны...

Схватили вещи, кот за нами до вокзала шел след в след, кота забрали. Ехали поездом двенадцать суток, в последние два дня оставалась у нас только капуста квашеная в банках и кипяток. Кто с ломом, кто с топором, кто с молотком – дежурили у дверей. Скажу вам так... Одной ночью напали на нас бандиты. Чуть не убили. За телевизор, за холодильник теперь могут убить. Мы ехали – как с войны, хотя в Киргизии, где мы жили, пока не стреляют. Была резня в городе Ош... киргизов с узбеками... Как-то оно быстро затихло. Затаилось. Но что-то в воздухе носится. На улицах... Скажу вам... Ладно мы, русские, но и сами киргизы боятся... У них очереди за хлебом, вот они и кричат: "Русские, убирайтесь домой! Киргизия – для киргизов!" – и выталкивают из очереди. И еще что-то по-киргизски, ну, такое, что, мол, им самим хлеба не хватает, а надо нас кормить. Я их язык плохо понимаю, выучила несколько слов, чтобы на базаре поторговаться...

У нас была Родина, теперь ее нет. Кто я? Мама – украинка, папа – русский. Родилась и выросла в Киргизии, вышла замуж за татарина. Кто мои дети? Какая у них национальность? Мы все перемешались, наша кровь перемешалась. В паспорте у меня и у детей записано – русские, а мы – не русские. Мы – советские! Но той страны, где я родилась, нет. Нет ни того места, что мы называли родиной, ни того времени, которое тоже было нашей родиной. Мы теперь – как летучие мыши. У меня пятеро детей: старший сын – в восьмом классе, младшая девочка – в детском садике. Я их сюда привезла. Нашей страны нет, а мы – есть.

Я там родилась, выросла. Строила завод, работала на заводе. "Поезжай туда, где твоя земля, а тут все наше". Ничего не давали взять, кроме детей: "Тут все наше". А где мое? Бегут люди. Едут. Все русские люди. Советские. Они нигде не нужны, их никто не ждет.

А я когда-то счастливая была. Все мои дети от любви... Я их так рожала: мальчик, мальчик, мальчик, потом – девочка, девочка. Больше говорить не буду... Заплачу... *(Но добавляет еще несколько слов.)* Мы будем жить тут. Теперь тут – наш дом. Чернобыль – наш дом. Наша родина... *(Вдруг улыбается.)* А птицы здесь такие, как и у нас. И памятник

Ленину стоит... *(И у калитки, уже прощаясь.)* Рано утром в соседнем доме стучат молотками, доски с окон снимают. Встречаю женщину: "Откуда вы?" – "Из Чечни". Ничего не говорит. Ходит в черном платке.

Меня люди встречают... Удивляются... Не понимают. Что ты, мол, делаешь со своими детьми, ты их убиваешь. Ты – самоубийца. Я не убиваю, я их спасаю. Вон, в сорок лет вся седая... В сорок лет! Однажды немецкого журналиста в дом привели, и он спросил: "Привезли бы вы детей туда, где чума или холера?" Так то ж чума и холера... А этого страха, который здесь, я не знаю. Не вижу. Нет его в моей памяти...

Я людей боюсь... Человека с ружьем...»

Монолог о том, что только во зле человек изощрен, но он прост и доступен в нехитрых словах любви

«Бежал я... Бежал от мира... Первое время на вокзалах отирался, вокзалы нравились, потому что людей много, а ты один. Потом в газетах прочитал – и сюда. Тут вольно. Я бы сказал – рай. Людей нет, одни звери ходят. Живу среди зверей и птиц. Разве я одинок?

Собственную жизнь забыл... Не спрашивайте... Что читал в книжках – помню, и о чем другие люди рассказывали – помню, а свою жизнь забыл. Дело было молодое... Грех на мне... Нет такого греха, который бы Господь не простил за искренность принесенного покаяния. Так-то... Люди несправедливы, а Господь многотерпелив и многомилостив...

Почему? Нет ответа... Человек не может быть счастливым. Не должен. Увидел Господь одинокого Адама и дал ему Еву. Для счастья, а не для греха. А у человека не получается быть счастливым. Я вот не люблю сумерки. Вот этот переход, как сейчас... От света к ночи... Подумаю и не могу понять, где я был раньше... Где моя жизнь? Так-то... Мне безразлично: могу жить и могу не жить. Жизнь человека, яко трава, расцветает, иссушается и вметается в огонь. Я полюбил мыслить... Тут можно одинаково погибнуть и от зверя, и от холода. И от дум. На десятки километров ни одного человека. Беса изгоняют постом и молитвой. Пост – для плоти, молитва – для души. Но я никогда не бываю одинок, верующий человек не может быть одинок. Так-то... Езжу по деревням... Раньше находил макароны, муку. Постное масло и консервы. Теперь на могилках побираюсь. Мертвым оставляют поесть, попить. А оно им не нужно... И они на меня не обижаются... На поле – дикое жито. В лесу – грибы, ягоды. Тут вольно. Много читаю.

Откроем святые страницы... Откровение Иоанна Богослова: "...и упала с неба большая звезда, горящая подобно факелу, и пала на третью часть рек и на источник вод. Имя сей звезде "полынь". И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки..."

Постигаю сие пророчество... Все уже предсказано, написано в святых книгах, но мы читать не умеем. Не понятливы. Полынь по-украински "чернобыль". В словах нам был дан знак. Но человек суетлив. Тщеславен. И мал.

Нашел у отца Сергея Булгакова... "поскольку Бог создал мир наверняка, то мир не может вовсе не удалиться" и нужно "мужественно и до конца претерпеть историю". Так-то... И у кого-то другого... Имя не помню... Помню мысль: "Зло собственно не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому, как мрак не другое что есть, как отсутствие света". Книжки тут найти просто, легко найдешь. Пустого глиняного кувшина уже не подберешь, ложки или вилки, а книжки лежат. Недавно нашел томик Пушкина... "И смерти мысль мила душе моей". Это запомнил. Так-то... "И смерти мысль"... Я тут один. О смерти думаю. Полюбил

мыслить. Тишина способствует приготовлению... Человек живет среди смерти, но не понимает, что такое смерть. А я тут один... Вчера волчицу с волчатами выгнал из школы, жили они там.

Вопрос: истинен ли мир, запечатленный в слове? Слово, оно стоит между человеком и душой. Так-то...

А то еще скажу: птицы, деревья, муравьи – они стали близки мне. Раньше таких чувств не знал. И не предполагал. Тоже у кого-то прочел: "Вселенная над нами и вселенная под нами". Я обо всех думаю. Человек страшен... И необычен... Но тут убивать никого не хочется. Рыбу ужу, есть удочка. Так-то... А в зверя не стреляю... И капканов не ставлю... Мой любимый герой Князь Мышкин говорил: "Разве можно видеть дерево и не быть счастливым". Так-то... Я люблю мыслить. А человек чаще всего жалуется, а не мыслит...

Что разглядывать зло? Оно, конечно, волнует... Грех – это тоже не физика... Необходимо признать несуществующее. Сказано в Библии: "Для посвященного – иначе, для остальных притча". Взять птицу... Или другое живое... Нам их понять невозможно, потому как они живут для себя, а не для других. Так-то... Вокруг все текущее, одним словом сказать...

Все живое – на четырех ногах, смотрит в землю и к земле тянется. Один человек на земле стоит, а руками и головой к небу поднимается. К молитве... К Богу... Старушка в церкви молится: "Все нам по грехам нашим". Но ни ученый, ни инженер и ни военный в том не признаются. Они думают: "Мне не в чем каяться. Почему я должен каяться?" Так-то...

Молюсь я просто... Читаю про себя... Господи, возвах меня! Услыши! Только во зле человек изощрен. Но как он прост и доступен в нехитрых словах любви. Слово даже у философов приблизительно по отношению к той мысли, которую они прочувствовали. Слово абсолютно соответствует тому, что в душе, только в молитве, в молитвенной мысли. Я физически это ощущаю. Господи, возвах меня! Услыши!

И человек тоже...

Я боюсь человека. И всегда хочу его встретить. Хорошего человека. Так-то... Тут или бандиты живут, прячутся, или такой человек, как я. Мученик.

Какая фамилия? Паспорта у меня нету. Забрала милиция... Била: "Чего шляешься?" – "Я не шляюсь – я каюсь". Еще крепче били. Били по голове... Так что напишите: раб божий Николай...

Уже – свободный человек».

Солдатский хор

Артем Бахтияров, рядовой; Олег Леонтьевич Воробей, ликвидатор; Василий Иосифович Гусинович, водитель-разведчик; Геннадий Викторович Деменев, милиционер; Виталий Борисович Карбалевиц, ликвидатор; Валентин Комков, водитель, рядовой; Эдуард Борисович Коротков, вертолетчик, Игорь Литвин, ликвидатор, Иван Александрович Лукашук, рядовой; Александр Иванович Михалевиц, дозиметрист; Олег Леонидович Павлов, майор, вертолетчик; Анатолий Борисович Рыбак, командир взвода охраны; Виктор Санько, рядовой; Григорий Николаевич Хворост, ликвидатор; Александр Васильевич Шинкевиц, милиционер; Владимир Петрович Швед, капитан; Александр Михайлович Ясинский, милиционер

«Наш полк подняли по тревоге... Долго ехали. Ничего конкретного никто не говорил. Только в Москве на Белорусском вокзале объявили, куда нас везут. Один парень, кажется, из Ленинграда, запротестовал: "Я хочу жить". Ему пригрозили трибуналом. Командир так и сказал перед строем: "В тюрьму или под расстрел пойдешь". У меня были другие чувства. Все наоборот. Хотелось чего-то героического. Испытать свой характер. Может быть, детский порыв? У нас служили ребята со всего Советского Союза. Русские, украинцы, казаки, армяне... Было тревожно и почему-то весело.

Ну, привезли нас... Привезли на самую станцию. Дали белый халат и белую шапочку. Марлевою повязку. Чистили территорию. День выгребали, скоблили внизу, день – наверху, на крыше реактора. Всюду с лопатой. Тех, кто поднимался наверх, "аистами" звали. Роботы не выдерживали, техника сходила с ума. А мы работали. Случалось – кровь из ушей шла, из носа. Першило в горле. Резало в глазах. Постоянно слышался монотонный звук в ушах. Хотелось пить, но аппетита не было. Физзарядка запрещалась, чтобы радиацией зря не дышать. А ездили на работу в кузовах открытых машин.

Но хорошо работали. И очень этим гордились...»

«Мы въехали... Стоял знак "запретная зона". Я не был на войне, но ощущение чего-то знакомого... Откуда-то из памяти... Откуда? Что-то связанное со смертью...

На дорогах встречали одичавших собак, котов. Иногда они вели себя странно, не узнавали людей, бежали от нас. Я не понимал, что с ними, пока нам не приказали их отстреливать... Дома опечатаны, колхозная техника брошена... Интересно посмотреть. Никого нет, только мы, милиция, патрулируем. Заходишь в дом – фотографии висят, а людей нет. Документы валяются: комсомольские билеты, удостоверения, похвальные грамоты... В одном доме взяли телевизор на время, напрокат, но чтобы кто-то что-то брал домой, я не замечал. Во-первых, было ощущение, что люди вот-вот вернуться... Во-вторых, это... что-то связанное со смертью...

Ездили к блоку, к самому реактору. Фотографироваться... Хотелось дома похвастаться... Страх был и в то же время интерес непреодолимый: что же это такое? Я, например, отказался, у меня жена молодая, не рискнул, а ребята выпивали по двести граммов и ехали... Так... (Помолчав.) Вернулись живые – значит, все нормально.

Заступал в ночное дежурство. Патрулируем... Ясная луна. Фонарь такой висит.

Деревенская улица... Ни одного человека... Первое время еще горел в домах свет, потом свет отключили. Едем – из дверей школы нам наперерез несется дикий кабан. Или лиса.

Звери жили в домах, школах, клубах. А там висели плакаты: "Наша цель – счастье всего человечества", "Победит мировой пролетариат", "Идеи Ленина – будут жить вечно". В колхозных конторах – красные флаги, новенькие вымпелы, стопки тисненых грамот с профилями вождей. На стенах – портреты вождей, на столах – гипсовые вожди. Всюду военные памятники... Других памятников не встречал. Наскоро слепленные дома, серые бетонные коровники, ржавые сенажные башни... И снова – маленькие и большие Курганы Славы... "И это наша жизнь? – спрашивал я у себя, посмотрев на все другими глазами. – Это мы так живем?" Будто военное племя снялось с временной стоянки... Куда-то унеслось...

Чернобыль взорвал мои мозги. Я стал думать».

«Брошенный дом... Закрытый. Котенок на окне. Думал, что он – глиняный. Подхожу: живой. Объел все цветы в горшках. Герани. Как он туда попал? Или его забыли?

На дверях записка: "Милый прохожий, не ищи дорогих вещей. Их у нас не было. Пользуйся всем, но не мародерствуй. Мы вернемся". На других домах видел надписи разной краской: "Прости нас, родной дом!" С домом прощались, как с человеком. Писали: "уезжаем утром" или "уезжаем вечером", ставили число и даже часы и минуты. Записки детским почерком на листках из ученических тетрадок: "Не бей кошку. Крысы поедят все". Или: "Не убивай нашу Жульку. Она – хорошая". *(Закрывает глаза.)* Я все забыл ... Я помню только, что туда поехал, а больше ничего не помню. Я все забыл ... На третий год после дембеля что-то с памятью случилось... Даже врачи не понимают... Деньги сосчитать не могу – сбиваюсь. Скитаюсь по больницам...

Я уже рассказывал или нет? Подходишь и думаешь – дом пустой. Откроешь – один кот сидит ... Ну и эти записки детские...»

«Призвали на службу...

А служба такая: не пропускать в выселенные деревни местных жителей. Стояли заслонами вблизи дорог, строили землянки, наблюдательные вышки. Звали нас почему-то "партизанами". Мирная жизнь. А мы стоим... Одеты по-военному. Крестьяне не понимали, почему, например, нельзя забрать со своего двора ведро, кувшин, пилу или топор. Собрать урожай. Как им объяснить? В самом деле: по одну сторону дороги солдаты стоят, не пускают, а по другую коров пасут, гудят комбайны и молотят зерно. Соберутся бабы и плачут: "Хлопчики, пустите! То ж наша земля... наши хаты..." Яйца, сало несут, самогонку. Пустите... Плакали по отравленной земле. Мебели... вещам...

А у нас служба такая: не пускать. Бабка несет корзину яиц – конфисковать и закопать. Подоила корову, несет ведро молока. С ней солдат. Похоронить молоко... Выкопали они тайком свою бульбочку – забрать. И свеклу, и лук, и тыкву. Похоронить... По инструкции... А всё уродило на славу, на зависть. И красота вокруг. Золотая осень. У всех были сумасшедшие лица. И у них, и у нас.

А в газетах трубили про наш героизм... Какие мы героические парни... Комсомольцы – добровольцы!

А кто мы были на самом деле? Что мы делали? Я хотел бы об этом узнать. Прочитать. Хотя я сам там был...»

«Я – военный человек, мне прикажут – я должен... Я дал присягу...

Но это не все... Героический порыв, он тоже был. Его воспитывали... Он нам внушался еще со школы. От родителей. И там политработники выступали. Радио, телевидение. Разные люди реагировали по-разному: одни хотели, чтобы у них взяли интервью, напечатали в газете, другие смотрели на все как на работу, третьи... Я их встречал, они жили с чувством, что совершают героический поступок. Участвуют в истории. Нам хорошо платили, но вопрос денег как бы не стоял. Зарплата моя – четыреста рублей, а там я получал тысячу, в тех, советских рублях. По тем временам большие деньги. Нас потом упрекали: "Деньжища лопатой гребли, а вернулись – подавай им машины, мебельные гарнитуры без очереди". Обидно, конечно. Потому что был и героический порыв...

Перед тем, как ехать туда, страх появился. На короткое время. А там страх исчезал. Если бы я мог увидеть – этот страх... Приказ. Работа. Задание. У меня был интерес посмотреть на реактор сверху, с вертолета: что там случилось, как это выглядит? Но это делать запрещалось. В карточку мне записали двадцать один рентген, но я не уверен, что это на самом деле так. Принцип был самый простой: прилетаешь в райцентр Чернобыль (это, кстати, маленький районный городишко, а не что-то такое грандиозное, как я себе представлял), там сидит дозиметрист, в десяти–пятнадцати километрах от станции, он производил замеры фона. Эти замеры потом умножались на количество часов, которые мы налетали за день. Но я поднялся на вертолете и полетел на реактор: туда – назад, проход в двух направлениях, сегодня там – восемьдесят рентген, завтра – сто двадцать... Ночью кружусь над реактором – два часа. Производили съемку в инфракрасных лучах, куски разбросанного графита на пленке как бы "засвечивались"... Днем их нельзя было увидеть...

Разговаривал с учеными. Один: "Я могу вот этот ваш вертолет языком вылизать, и со мной ничего не случится". А другой: "Ребята, вы что без защиты летаете? Жизнь себе укорачиваете? Обшивайтесь! Обклепывайтесь!" Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Выложили сиденья свинцовыми листами, вырезали нагрудные жилеты... Из тонкого листового свинца... Но оказывается, от одних лучей они защищают, а от других – нет. Лица у всех стали красные, обожженные, не могли бриться. Летали с утра до ночи. Фантастического ничего не было. Работа. Тяжелая работа. Ночью сидели у телевизора, как раз в то время шел чемпионат мира по футболу. Разговоры, конечно и о футболе.

Задумываться мы стали... Как бы не соврать... Наверное, года через три-четыре... Когда один заболел, второй... Кто-то умер... Сошел с ума... Покончил с собой... Тогда начали задумываться. А пойдем что-нибудь, я думаю, через двадцать-тридцать лет. У меня – Афган (я там был два года) и Чернобыль (я там был три месяца) – самые яркие моменты в жизни...

Родителям не сообщал, что направили в Чернобыль. Брат случайно купил газету "Известия" и увидел там мой портрет, приносит матери: "На, смотри – герой!" Мать заплакала...»

«Мы двигались к станции...

А навстречу нам шли колонны с эвакуированными людьми. Гнали технику. Скот. День и ночь. Среди мирной жизни...

Ехали... И я, знаете, что увидел? По обочинам дороги. Под солнечными лучами... Тончайший блеск... Что-то кристаллическое блестело... Мельчайшие частички... Ехали в сторону Калинковичей, через Мозырь. Что-то переливалось... Переговорили мы между собой. Удивились. В деревнях, где работали, на листьях сразу заметили прожженные дырочки, особенно на вишне. Рвали огурцы, помидоры – и там на листьях черные дырочки... Осень. Пунцовые от ягод кусты смородины, от яблок ветки до земли гнутся – конечно, не удержишься. Съешь. Объясняли нам, что нельзя. А мы ругались и ели.

Поехал... Хотя мог не ехать. Добровольцем попросился. В первые дни равнодушных там не встречал, это потом вакуум в глазах, когда пообвыкли. Орденок урвать? Льготы? Чепуха! Мне лично ничего не надо было. Квартира, машина... Что еще? А, дача... Все имел. Срабатывал мужской азарт... Едут настоящие мужики на настоящее дело. А остальные? Пускай сидят под бабьими юбками... У одного – принес справку – жена рождает, у другого – маленький ребенок... Да, рискованно. Да, опасно – радиация, но делать-то кому-то надо. А как наши отцы в войну?

Возвратились домой. Все с себя снял, всю одежду, в которой там был, и выбросил в мусоропровод. А пилотку подарил маленькому сыну. Очень он просил. Носил, не снимая. Через два года ему поставили диагноз: опухоль мозга...

Дальше допишите сами... Я не хочу дальше говорить...»

«Я только вернулся из Афганистана... Жить хотел. Жениться. Сразу хотел жениться...

А тут – повестка с красной полосой "Спецборцы" – в течение часа явиться по указанному адресу. Мать сразу плакать. Она решила, что меня опять забирают на войну.

Куда везут? Зачем? Информация слабая. Ну, взорвался реактор... И что? В Слуцке переодели, обмундировали, и тут приоткрылось, что едем в райцентр Хойники. Прибыли в Хойники, там люди еще ничего не знали. Они, как и мы, в первый раз видели дозиметр. Повезли дальше, в деревню... А там играют свадьбу: молодые целуются, музыка, пьют самогон. Свадьба как свадьба. А нам приказ: срезать грунт на штык... Вырубить деревья...

Сначала выдали оружие. Автоматы. На случай нападения американцев... На политзанятиях читали лекции о диверсиях западных спецслужб, их подрывной работе. Вечером мы оставляли оружие в отдельной палатке. Посреди лагеря. Через месяц его увезли. Никаких диверсантов. Рентгены... Кюри...

Девятого мая – на День Победы приехал генерал. Построили нас, поздравили с праздником. Один из строя осмелился и спросил: "Почему скрывают, какой радиофон? Какие получаем дозы?" Один такой нашелся. Так его, когда генерал отбыл, вызвал командир части и дал нахлобучку: "Провокации устраиваешь! Паникер!!" Через пару дней какие-то противогазы выдали, но никто ими не пользовался. Дозиметры два раза показывали, но в руки никому не дали. Раз в три месяца отпускали домой на пару дней. Наказ один: купить водки. Я притянул на себе два рюкзаки с бутылками. На руках качали.

Перед отправкой домой всех вызывал "кагэбешник" и убедительно советовал: нигде и никому не рассказывать о том, что мы видели. Из Афгана я вернулся, я знал – буду жить! А после Чернобыля всё наоборот: убьёт именно тогда, когда ты – уже дома.

Вернулся ... А всё только начинается...»

«Что запомнилось... Врезалось в память?

Целый день мотаюсь по деревням... С дозиметристами... И ни одна из женщин не предложит яблоко... У мужчин страха меньше, принесут самогон, сало: "Давай пообедаем". И отказываться неудобно, и пообедать чистым цезием – мало радости. Выпьешь. Без закуски.

Белые грибы хрустели под колесами машин. Разве это нормально? В реке плавали толстые и ленивые сомы, раз в пять-семь больше привычного. Разве это нормально? Разве...

В одной деревне все-таки усадили за стол... жареная баранина... Хозяин подвыпил и признался: "Молодой барашек. Зарезал, потому что не мог на него смотреть. Ну, и уродина!

Есть даже неохота". Я – хлоп стакан самогона. После этих слов... Хозяин смеется: "Мы тут адаптировались, как колорадские жуки."

Поднесли дозиметр к дому – зашкаливает...»

«Десять лет прошло... Уже как будто этого и не было, если бы не заболел, забыл бы...

Надо Родине служить! Родине служить – святое дело. Получил: нательное белье, портянки, сапоги, погоны, пилотку, брюки, гимнастерку, ремень, вещмешок. В путь! Дали самосвал. Возил бетон. Сажу в кабине и верю, что железо и стекло меня защищают. Была не была... Пронесет! Молодые ребята. Неженатые. Респираторы с собой не брали... Нет, одного помню... Пожилой водитель... Вот он всегда – в маске А мы – нет. Гаишники стояли без масок. Мы – в кабине, а они – в радиоактивной пыли стояли по восемь часов. Всем хорошо платили: три зарплаты плюс командировочные. Употребляли... Водка, знали, помогает. Первейшее средство для восстановления защитных свойств организма после радиоактивного облучения. И снимает стресс. Не случайно в войну давали знаменитые наркомовские сто граммов. Обычная картина: пьяный милиционер штрафует пьяного водителя...

Не пишите о чудесах советского героизма. Они были... Чудеса! Но сначала – халатность, безалаберность, а потом чудеса. Закрывать амбразуру... Грудью на пулемет... А что в принципе не должно быть такого приказа, об этом никто не пишет. Швыряли нас туда, как песок на реактор... Как мешки с песком. Каждый день вывешивался новый "боевой листок": "работают мужественно и самоотверженно", "выстоим и победим". Называли красиво – "солдатами огня".

Дали мне за подвиг грамоту и тысячу рублей...»

«Поначалу недоумение... Ощущение, что военные учения... Игра...

Но это была настоящая война. Атомная война... Нам неизвестная: что страшно, и что не страшно, чего опасаться, и чего не опасаться? Никто не знал. И спросить было не у кого. Настоящая эвакуация... На вокзалах... Что творилось на вокзалах! Мы помогали заталкивать детей в окна вагонов... Наводили порядок в очередях... Очереди за билетами в кассах, за йодом – у аптек. В очередях ругались матом и дрались. Ломали двери в винных ларьках и магазинах. Разбивали, выламывали в окнах железные решетки. Тысячи переселенцев... Они жили в клубах, школах, детских садах. Ходили полуголодные. Деньги у всех быстро кончались. В магазинах все скупили...

Я не забуду женщин, которые стирали наше белье. Стиральных машин не было, о них не подумали, не завезли. Стирали вручную. Все женщины – пожилые. Руки у них – в волдырях, струпьях. Белье не просто грязное, там десятки рентген... "Хлопчики, поешьте", "Хлопчики, поспите", "Хлопчики, вы ж молодые. Берегитесь". Жалели нас и плакали.

Живы ли они сейчас?

Двадцать шестого апреля каждый год мы собираемся – те, кто там был. Те, кто теперь еще остался. Вспоминаем то время. Ты был солдатом на войне, ты был нужен. Плохое забылось, а это осталось. Осталось то, что без тебя не могли обойтись... Тебя востребовали... Наша система, военная, в общем-то, она отлично срабатывает в чрезвычайных обстоятельствах. Ты наконец там свободен и необходим. Свобода! И русский человек в такие моменты показывает, как он велик! Уникален! Голландцами или немцами никогда не станем. И не будет у нас долговечного асфальта и ухоженных газонов. А герои всегда найдутся!...»

«Моя история...

Бросили клич – я пошел. Надо! Был членом партии. Коммунисты, вперед! Такая обстановка. Я в милиции работал. Старший сержант. Пообещали мне новую звездочку на погоны. Это был июнь восемьдесят седьмого года... Надо медкомиссию обязательно пройти, но меня отправили без проверки. Кто-то там, как говорится, отмазался, принес справку, что у него язва желудка, и меня вместо него. Срочно. Такая обстановка... *(Смеется.)* Анекдоты уже к тому времени появились. В момент... Приходит муж с работы и жалуется жене: "Сказали: завтра – или в Чернобыль, или партбилет на стол". – "Так ты же беспартийный?" – "Вот я и думаю: где я им к утру партбилет возьму".

Ехали – как военные люди, а из нас на первое время организовали бригаду каменщиков. Строили аптеку. У меня сразу слабость, сонливость какая-то. По ночам – кашель. Я – к врачу: "Все нормально. Жара". В столовую привозили из колхоза мясо, молоко, сметану, мы ели. Врач ни к чему не притрагивался. Сготовят еду, он в журнале отметит, что все в норме, но пробу сам не снимал. Мы это замечали. Такая обстановка. Отчаянные были. Началась клубника. Полные ульи меда...

Уже начинали лазить мародеры. Тащили все. Мы заколачивали окна, двери. Опечатывали в колхозных конторах сейфы, сельские библиотеки. Затем отключали инженерные коммуникации, обесточивали здания на случай пожара.

Магазины разграблены, решетки на окнах выдраны. Мука, сахар под ногами, растоптанные конфеты... Разбитые банки... Из одной деревни людей выселили, а через пятьдесят километров люди живут. Вещи из брошенной деревни перекочевали к ним. Такая обстановка... Мы охраняем... Приезжает бывший председатель колхоза с местными людьми, их уже где-то поселили, дали дома, но они возвращаются сюда убирать жито, сеять. Вывозили сено в тюках. В тюках мы находили спрятанные швейные машинки, мотоциклы, телевизоры. А излучение такое шло, что телевизоры не работали... Бартер: они тебе бутылку самогона – ты им разрешение на провоз детской коляски. Продавали, выменивали трактора, сеялки. Одна бутылка... Десять бутылок... Деньги никого не интересовали... *(Смеется.)* Как при коммунизме... На все существовала такса: канистра бензина – пол-литра самогона, каракулевая шуба – два литра, мотоцикл – как сторгуешься... Я через полгода отбыл, согласно штатному расписанию, срок был полгода. Потом присылали замену. Нас малость задержали, потому что из Прибалтики отказались ехать. Такая обстановка... Но я знаю, что разворовали, вывезли все, что можно было поднять и увезти. Пробирки из школьных химических лабораторий тащили. Зону перевезли сюда... Ищите на рынках, в комиссионных магазинах, на дачах...

Осталась за проволокой только земля... И могилы... Наше прошлое – наша большая страна...»

«Прибыли на место... Переобмундировались...

Вопрос: куда мы попали? "Авария, – успокаивает нас капитан, – случилась давно. Три месяца назад. Уже не страшно". Сержант: "Все хорошо, только мойте руки перед едой".

Служил дозиметристом. Как стемнеет, к нашему вахтовому вагончику подъезжают ребята на машинах. Деньги, сигареты, водка... Дай только в конфискованном барахле порыться. Паковали сумки. Куда везли? Наверное, в Киев... В Минск... На барахолки... То, что оставалось, мы хоронили. Платья, сапоги, стулья, гармошки, швейные машинки... Закапывали в ямы, которые называли "братскими могилами".

Домой приехал. Иду на танцы. Понравилась девчонка:

– Давай дружить.

– Зачем? Ты теперь чернобыльский. Кто за тебя замуж пойдет?

С другой познакомился. Целуемся. Обнимаемся. Дело до загса доходит.

– Давай поженимся, – предложил.

И вопрос вроде того: а ты разве можешь? Способен...

Я бы уехал... И, наверное, уеду. Да вот родителей жалко...»

«У меня своя память...

Официальная моя должность там – командир взвода охраны... Что-то вроде директора зоны апокалипсиса. *(Смеется.)* Так и напишите.

Задерживаем машину из Припяти. Город уже эвакуирован, людей нет. "Предъявите документы". Документов нет. Кузов накрыт брезентом. Поднимаем брезент: двадцать чайных сервизов, как сейчас помню, мебельная стенка, мягкий угол, телевизор, ковры, велосипеды...

Составляю протокол.

Привозят мясо для захоронения в могильниках. В говяжьих тушах отсутствуют стегна. Вырезка.

Составляю протокол.

Поступило донесение: в брошенной деревне разбирают дом. Нумеруют и укладывают бревна на трактор с прицепом. Срочно отправляемся по указанному адресу. "Налетчики" задержаны. Хотели вывезти строение и продать под дачу. Уже аванс от будущих хозяев получили.

Составляю протокол.

В пустых деревнях бегали одичавшие свиньи. А собаки и кошки ждали людей возле своих калиток. Сторожили пустые дома.

Постоишь возле братской могилы... Треснутый камень с фамилиями: капитан Бородин, старший лейтенант... Длинные столбцы, как стихи – фамилии рядовых... Репейник, крапива, лопухи...

Вдруг досмотренный огород. За плугом ступает хозяин, увидел нас:

– Хлопцы, не кричите. Мы уже подписку дали: весной уедем.

– А зачем тогда огород перепахиваете?

– Так это ж осенние работы...

Я понимаю, но я должен составить протокол...»

«Да, пошли вы все...

У меня жена забрала ребенка и ушла. Сука! Но я не повешусь, как Ванька Котов... И не брошусь с седьмого этажа. Сука! Когда я оттуда прикатил с чемоданом денег... Машину купили, ей – шубу норковую... Она, сука, жила со мной. Не боялась. *(Поет.)*

Даже тысяча рентген
Не положит русский член...

Хорошая частушка. Оттуда. Хотите анекдот? *(Тут же начинает рассказывать.)* Муж возвращается домой... Из-под реактора... Жена спрашивает у врача: "Что делать с мужем?" – "Помыть, обнять, дезактивировать". Сука! Она меня боится... Забрала ребенка... *(Неожиданно серьезно.)* Солдаты работали... Возле реактора... Я их водил на смену и со смены: "Ребята, считаю до ста. Все! Вперед!" У меня, как и у всех, висел на шее счетчик-накопитель. После смены я их собирал и сдавал в первый отдел... Секретный... Там снимали показания, записывали вроде бы что-то в наши карточки, но сколько рентген каждому попало – военная тайна. Суки! Б... Проходит какое-то время, тебе говорят: "Стоп! Больше нельзя!" Вся медицинская информация... Даже при отъезде не сказали – сколько? Суки! Б... Теперь они дерутся за власть... За портфели... У них – выборы... Еще хотите анекдот? После Чернобыля можно есть все, но свое дерьмо – хоронить в свинце. Ха-ха-ха... Жизнь прекрасна, падла, но так коротка...

Как нас лечить? Никаких документов мы не привезли. Я искал... Запрашивал по инстанциям... Получил и храню три ответа. Ответ первый: документы уничтожены в связи с тем, что срок их хранения – три года, второй – документы уничтожены во время постперестроечного сокращения армии и расформирования частей, третий – документы уничтожены, потому что были радиоактивны. А может, их уничтожили, чтобы никто не узнал правду? Мы – свидетели. Но мы скоро умрем... Чем помочь нашим врачам? Мне бы сейчас справочку: сколько? Чего я там набрал? Я бы своей суке показал... Я еще ей докажу, что мы выживем в любых условиях и будем жениться и рожать.

А вот... Молитва ликвидатора: "Господи, если ты сделал так, что я не могу, то сделай так, чтобы я не хотел". Пошли вы все в ж..!»

«Начиналось... Все начиналось как детектив...

Во время обеда – звонок на завод: рядовому запаса такому-то... явиться в городской военкомат, чтобы что-то уточнить в документах. Причем - срочно. А в военкомате... Таких, как я, было много, нас встречал капитан и каждому повторял: "Завтра поедете в поселок Красное, где будут проходить военные сборы". Утром следующего дня все собрались возле здания военкомата. Забрали у нас гражданские документы, военные билеты и посадили в автобусы. И повезли в неизвестном направлении. О военных сборах уже никто не заикался. Сопровождавшие нас офицеры на все вопросы отвечали молчанием. "Братцы! А если в Чернобыль?!" – догадался кто-то. Команда: "Замолчать! За паникерские настроения – военный трибунал по законам военного времени". Через какое-то время объяснение: "Мы находимся на военном положении. Никаких лишних разговорчиков! Кто оставит Родину в беде – тот предатель".

В первый день – увидели атомную станцию издали. На второй уже убрали вокруг нее мусор... Таскали ведрами... Гребли обыкновенными лопатами, зачищали метлами, с которыми дворники работают. Скребками. А ясное дело – лопата приспособлена для песка и щебня. Но не для мусора, в котором находили все: куски пленки, арматуры, дерева и бетона. Как говорится, на атом с лопатой. Двадцатый век... Трактора и бульдозеры, которые там применялись, были без водителя, радиоуправляемые, а мы шли за ними и подгребали остатки. Дышали этой пылью. Меняли за смену до тридцати "лепестков Истрыкова", в народе их звали "намордниками". Неудобная и несовершенная вещь. Часто их срывали... Дышать невозможно, особенно в жару. Под солнцем.

После всего... Еще три месяца проходили военные сборы... Стреляли по мишеням. Учили новый автомат. На случай ядерной войны... *(С иронией.)* Я так понимаю... Нас даже не переодели. Ходили в тех же гимнастерках, в сапогах, в каких были возле реактора.

Ну и дали подписать бумагу... О неразглашении... Я молчал... А если бы дали говорить, кому бы я мог рассказать? Сразу после армии стал инвалидом второй группы. В двадцать два года. Работал на заводе. Начальник цеха: "Прекрати болеть, а то сократим". Сократили. Пошел к директору: "Не имеете права. Я – чернобылец. Я вас спасал. Защищал!" – "Мы тебя туда не посылали".

По ночам просыпаюсь от маминого голоса: "Сыночек, почему ты молчишь? Ты же не спишь, ты лежишь с открытыми глазами. И свет у тебя горит". Я молчу... Кто готов меня выслушать? Заговорить со мной так, чтобы я ответил... На моем языке...

Я одинок...»

«Уже не боюсь смерти. Самой смерти...

Но не понятно, как буду умирать... Друг умирал... Увеличился, раздулся... С бочку... А сосед... Тоже там был, крановщик. Он стал черный, как уголь, высох до детского размера. Не понятно, как буду умирать... Если бы я просил смерти, то обыкновенной. Не чернобыльской. Одно мне точно известно: с моим диагнозом долго не протянешь. Почувствовать бы момент, и пулю – в лоб. Я был и в Афгане... Там с этим легче... С пулей...

В Афганистан я поехал добровольцем. И в Чернобыль тоже. Сам попросился. Работал в городе Припять. Город был опоясан двумя рядами колючей проволоки, как на государственной границе. Чистенькие многоэтажные дома и улицы, покрытые толстым слоем песка, вырубленные деревья... Кадры из фантастического фильма... Мы выполняли приказ – "постирать" город и заменить верхние двадцать сантиметров почвы таким же слоем песка. Выходных дней не было. Как на войне. Храню газетную вырезку... Об операторе Леониде Топтунове, это он в ту ночь дежурил на станции и нажал на красную кнопку аварийной защиты за несколько минут до взрыва. Она не сработала... Его лечили в Москве. "Чтобы спасти, нужно тело", – разводили руками врачи. А у него осталось единственное чистое, необлученное пятнышко на спине. Похоронили на Митинском кладбище. Гроб выложили внутри фольгой... Над ним полтора метра бетонных плит, со свинцовой прокладкой. Приедет отец... Стоит, плачет... Идут мимо люди: "Твой сукин сын взорвал!" Был он всего лишь оператор. А похоронен – как пришелец из космоса.

Лучше бы я погиб в Афгане! Честно скажу, наваливаются такие мысли. Там смерть была делом обыкновенным... Понятным...»

«С вертолета...

Шел низко над землей, наблюдал... Косули, дикие кабаны... Худые, сонные. Как на замедленной съемке двигаются... Они питались травой, что там росла, и пили воду. Не понимали – им тоже надо уйти. Вместе с людьми уйти...

Ехать – не ехать? Лететь – не лететь? Я – коммунист, как я мог не лететь? Двое штурманов отказались, мол, жены молодые у них, детей еще нет, их пристыдили. Карьера кончилась! Был еще мужской суд. Суд чести! Это, понимаете, азарт – он не смог, а я пойду. Теперь я думаю иначе... После девяти операций и двух инфарктов... Теперь я никого не

сужу, я их понимаю. Молодые ребята. Но сам все равно бы полетел... Это точно. Он – не смог, а я – пойду. Мужское!

Сверху... С высоты... Поражало количество техники: тяжелые вертолеты, средние вертолеты... МИ-24 – это боевой вертолет... Что можно было делать на боевом вертолете в Чернобыле? Или на военном истребителе МИ-2? Летчики. Молодые ребята... Стоят в лесу возле реактора, хватают рентгены. Приказ! Военный приказ! Но зачем было посылать туда такое количество людей, облучать? Зачем?! *(Срывается на крик.)* Требовались специалисты, а не человеческий материал. Сверху видно... Разрушенное здание, груды обвалившегося хлама... И гигантское количество маленьких человеческих фигурок. Стоял какой-то фээргэшевский кран, но мертвый, немного по крыше прошел и помер. Роботы умирали... Наши роботы, созданные академиком Лукачевым для исследований на Марсе... Японский робот, внешне похожий на человека... Но... У них, видно, сгорала вся начинка от высокой радиации. Солдатики в резиновых костюмах, в резиновых перчатках бегали... Такие маленькие, если смотреть с неба...

Я всё запоминал... Я думал, что расскажу сыну... А приехал: "Папа, что там?" – "Война." Я не нашел других слов...»